

В. Ф. Одоевский

О литературе и искусстве

- Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии "Горе от ума"
- Парадоксы
- Из записной книжки
- Две заметки о Гоголе
- О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе
- Как пишутся у нас романы
- О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина
- Пушкин
- Записки для моего праправнука о русской литературе
- Психологические заметки
- Предисловие к "Опытам рассказа о древних и новых преданиях"
- Опыт безымянной поэмы
- Письмо А. А. Краевскому
- Две заметки об И. С. Тургеневе
- Недовольно
- Беседа В. Ф. Одоевского с Шеллингом

ЗАМЕЧАНИЯ НА СУЖДЕНИЯ МИХ. ДМИТРИЕВА О КОМЕДИИ "ГОРЕ ОТ УМА"

Чтобы иметь ключ ко многим литературным истинам нашего времени, надобно знать не теорию словесности, а отношения к лицам.

Мих. Дмитриев в "Замеч. на сужд. Телегр.". В. Е., стр. 109.

Долго, долго "Вестник Европы" приносил жертвы богиням и мира и молчания, долго покоился он; лишь изредка Юст Веридиков нарушал безмятежность сего журнала, как вдруг г. Мих. Дмитриев явился на поприще критики счастливым подражателем Юста Веридикова! В самом деле, нельзя не заметить чудного сходства между сими двумя критиками: та же основательность в суждениях, та же необъемлемая ученость, та же благоразумная расчетливость в литературе. Но Юст Веридиков нападал из-за угла и заставлял читателей угадывать, на кого именно нападает; г. Дмитриев, напротив, старается именно показать, что он нападает на сочинение, делающее честь нашей словесности, словом, на комедию "Горе от ума" г. Грибоедова.

Не буду говорить о том, что все русские журналы (за исключением "В. Е.") наполнены похвалами сей комедии. Это прекрасное произведение, конечно, не имеет нужды ни в похвалах, ни в защите от нападений г. Дмитриева; оно, без сомнения, переживет все журнальные статейки и все возможные прологи и проч. ... но не защищать его хочу; я желаю показать только предубеждение критика.

Выставленные мною слова вместо эпитафии суть единственная истина, сказанная г-м Дмитриевым во всей статье его. Точно! Очень можно не знать ни теории словесности и ничего не знать, кроме отношений, и выдавать себя за истолкователя литературных истин - вся статья г. Дмитриева служит подтверждением этой мысли; жаль только, что г. Д. не упомянул, отчего происходят эти отношения; постараемся дополнить его суждение: эти отношения рождаются от едкой, счастливой эпитафии, доставляющей нам известность поневоле; оттого, что другие имеют способность производить, а иные не имеют, оттого, что иные не произвели еще ничего заметного, а другие своими произведениями уже снискали себе прочную славу.

Постараемся подтвердить наше мнение доказательствами.

Начну с того, что критика г. Мих. Дмитриева не могла существовать - это мечта, литературная мистификация; ибо, каким образом можно судить по

отрывку о целой комедии? Вот вопрос, который должен представиться всякому при первом и - последнем взгляде на статью г. Дмитриева. Но г. Дмитриев предусмотрел этот вопрос и потому сказал: по отрывку нельзя судить о целой комедии; но о характере главного действующего лица можно.

Помилуйте, м. г.! Главный характер должен развиваться во все продолжение пьесы, каждое новое обстоятельство, каждое слово должно давать ему новую оттенку, следственно, только при обозрении всех действий лица можно постигнуть его характер во всей полноте и тогда уже судить о нем. Правда, есть произведения, у которых можно отнять начало, конец, середину, и оттого они ничего не потеряют, а еще выиграют: так, например, из вашего пролога можно выкинуть то, что на глаза попадет, и он оттого ничего не потерпит; но не к такого рода произведениям принадлежит комедия Грибоедова: в ней каждое обстоятельство имеет свое назначение, каждое слово дополняет картину. Из отрывка же можно заключить только о том, о чем было сказано в "Телеграфе", то есть об острых, новых мыслях и о живой картине общества. Доказательством моего мнения может служить то, что вы, рассуждая по отрывку, жестоко ошиблись в характере главного действующего лица, хотя, признаюсь, и из отрывка нельзя было заключить того, что вы заключили.

Вы говорите: г. Грибоедов хотел представить умного и образованного человека, который не нравится обществу людей необразованных.

Ошиблись, м. г., или сказали не то, что вам хотелось сказать. Что за неопределенность в ваших выражениях? Сколько различных понятий представляют слова ваши: умный, образованный, необразованный. Правда, комик изображает нам в Чацком* человека умного и образованного, но не в том смысле, как вы это понимаете; в Чацком комик не думал представить идеала совершенства, но человека молодого, пламенного, в котором глупости других возбуждают насмешливость, наконец, человека, к которому можно отнести стих поэта:

Не терпит сердце немоты.

Если бы вы с сей точки зрения посмотрели на характер Чацкого, тогда бы увидели, что он составляет совершенную

* См. "Русскую талию", отр. из "Горе от ума". (Прим. В. Ф. Одоевского.)

противоположность с окружающими его лицами и что одна сторона оттеняет другую: что в одной видна сила характера, презрение предрассудков, благородство, возвышенность мыслей, обширность взгляда; в другой слабость духа, совершенная преданность предрассудкам, низость мыслей, тесный круг суждения. Тогда бы не показалось вам странным, отчего Чацкий, воспитывавшийся вместе с Софьей, с которою вместе смеялся над дядюшками и тетюшками, при встрече с нею шуточно о них спрашивает; здесь, м. г., от вашего взгляда укрылась глубокая мысль комика: Чацкий необходимо должен был говорить Софье об их общих знакомых. Вспомните, что Чацкий принят Софьей холодно, он невольно ищет предметов, которые должны напомнить ей их прежнюю связь, а что более укрепляет эту связь между молодыми людьми, если не то положение, в котором они, согласные между собою в мнениях, как бы уединяются от света, одни понимают друг друга и передают взаимно замечания о том обществе, от которого чувствуют себя удаленными? Если бы вы, говорю, с настоящей точки зрения смотрели на характер Чацкого, тогда не показалось бы вам странным, отчего на насмешку графини, зачем он в чужих краях не женился на какой-нибудь модистке, - Чацкий отвечает также насмешкою. Милее всего то, что вы в доказательство своего мнения преважно говорите: "Сама Софья говорит о Чацком не человек, змея" - я не знаю, стоит ли это ответа! Скажите же мне, м. г., каким образом иначе может говорить Софья, когда Чацкий насмехается над Молчалиным, в которого она влюблена?

Еще милее слова ваши: "Если б комик исполнил сию мысль, то характер Чацкого был бы занимателен, окружающие его лица смешны, а вся картина забавна и поучительна", т. е. если б комик послушался вашего совета, то его комедия обратилась бы в нечто бесцветное, подобное многим прологам, которые, не во гнев вам, все-таки ни смешны, ни занимательны, ни забавны, ни поучительны.

"Впрочем, идея сей комедии не новая; она взята из "Абдеритов"². Ведь

иной подумает, что вы и правду говорите, м. г.! Но всего забавнее, что вы тотчас после того сами же себя опровергаете, говоря: "Но Виланд представил своего Демокрита умным, любезным, даже снисходительным человеком, который про себя смеется над глупцами, но не старается выказывать себя перед ними; Чацкий же, напротив, есть не что иное, как сумасброд, который находится в обществе людей совсем не глупых, но необразованных, и который умничает перед ними, потому что считает себя умнее". Помилуйте. Каким же образом комедия может быть взята из "Абдеритов", когда по собственным вашим словам главные действующие лица не похожи друг на друга (о других и говорить нечего)? Одно обстоятельство одинаково у них: Чацкий возвращается в отечество и Демокрит возвращается в отечество, следовательно, по-вашему, Чацкий и Демокрит одно и то же. Прекрасная логика! После этого я имею полное право сказать, что критика г. Дмитриева на Грибоедова есть критика г. Тредьяковского³ на Ломоносова, и, может быть, скажу это с большим основанием.

Нельзя пропустить без замечания и того, что прежде вы говорите: "Демокрит про себя смеется над глупцами, не старается выказывать себя перед ними"; а чрез несколько строк: "Абдериты после возвращения Демокрита запретили путешествовать". Прочтите хорошенько Виланда, и вы увидите, что причину сего запрещения были речи Демокритовы, следовательно, он не про себя смеялся! Воля ваша, но я, право, не виноват, если в вашей статье что шаг, то противоречие, что слово, то ошибка!

Не знаю, отвечать ли на уверение ваше, что Чацкий есть Мольеров Мизантроп в карикатуре. Не постигаю, как можно с такою уверенностью писать вещи, которые не имеют ни тени вероятности! Крутон⁴ ненавидит приличия и предрассудки, Чацкий ненавидит приличия и предрассудки - следовательно, Чацкий и Крутон одно и то же: эта логика та же, что и в ваших толках о Демокрите. Ненавидеть приличия и предрассудки - эта мысль столь неопределенна, столь обширна, что бесчисленное множество может быть характеров самых разнообразных, из которых ко всякому равно может она относиться; можно ли из того заключить, что они все одинаковы? Не унижать хочу великого Мольера, но как не сказать, что Крутон его, человек, живший всегда в свете и которому вдруг, Бог знает почему, вздумалось на свет рассердиться, когда по его характеру ему никогда невозможно и быть в этом свете. Чацкий, напротив, молодой человек, еще не вступавший в свет, возвратившийся из чужих краев и, следовательно, имевший случай сравнить с ними окружающие его лица - вот причины, заставляющие его действовать. Крутон имеет целию одну нагую истину; в Чацком действует патриотизм, доходящий до фанатизма; в Крутоне - сколько ни старался Мольер сделать его презирающим приличия, - все виден придворный*, и здесь нельзя не заметить величайшей несообразности между характером, повторяю, невозможным в большом свете, с этою легкой оттенкою ветрености; в Чацком, напротив, нет ни малейшей тени двуличия. Крутон некоторым образом человек, что говорится, благоразумный, расчетливый: он хочет отделаться от графского сонета своим не-

* Как, напр<имер>, в сцене с Знатовым. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

знанием; Чацкий следует первому впечатлению и как бы ищет противного, чтобы потом поражать оное. Где же сходство между Крутоном и Чацким, г. Дмитриев? В дополнение несообразностей и противоречий в статье вашей мы чрез страницу находим следующее: "В изящных искусствах отличие одного характера от другого часто зависит от исполнения. Как скоро средства, употребляемые двумя комиками, различны, то из двух сходных характеров каждый может быть сам по себе оригинален" - как соединить это с предыдущим? Тут же вы прибавляете: лишь бы подобно Чацкому не противоречил своему идеалу; но какому идеалу, м. г. - право, не понимаю - растолкуйте, Бога ради? Скажите, кто научил вас этому непонятному искусству и смелости соединять самые резкие противоречия и набирать слова, не имеющие ровно никакого значения. "Такая несообразность характера с его назначением..." С каким назначением? Которое вы для него изобрели. Бога ради, м. г., избавьте нас от своих изобретений!

"Прием (?) Чацкого как путешественника ошибка против местных нравов. У нас всякий, возвратившийся из чужих краев, принимается с восхищением".

Правда, м. г.; но это восхищение – не всегда может относиться к тем, которые возвращаются с новыми познаниями, с новыми мыслями, со страстною совершенствоваться. Таким людям худо жить, особенно если они осмелятся шутить, писать эпиграммы на людей, играющих роль трутней в подлунном мире. Но, впрочем, это дело постороннее: скажите, где вы нашли в комедии, что Чацкого дурно принимают за то, что он возвратился из чужих краев? Эта ошибка показывает внимание, с которым вы читали пьесу, о которой берется судить и рядить.

"Короче: г. Грибоедов изобразил очень удачно некоторые портреты, но не совсем попал на нравы того общества, которое вздумал описывать". Воля ваша, и тут я не доберусь смысла. Под портретами, как вы называете, нельзя представить себе ничего иного, как списка с нравов общества, но вы говорите, что г-н Грибоедов не попал на нравы общества; по-вашему, комик изобразил нравы общества и не изобразил нравов общества. Поздравляю с находкою! Таково торжество правого дела! Желая найти дурное, вы на каждом шагу себе противоречите; желая хулить, в то же время невольно хвалите. Сверх того, скажите: кто из ваших читателей вам поверит, что г-н Грибоедов не попал на нравы описанных им обществ?

"Не говорю уже о языке сего отрывка, жестком, неровном, неправильном!" И хорошо, что не говорите, ибо никто бы вам не поверил в этом, и вы не имели бы возможности доказать своих слов. При всем вашем желании находить неправильности вы отыскиали только четыре стиха, из которых первые два, как сейчас увидим, совсем не неправильны, а последние два также могут быть позволены в разговорном слоге. Вы досаждаете на "Телеграф", зачем в нем говорят о новых мыслях в отрывке из "Горя от ума"; я хочу вступить за вас; и у вас точно есть одна новая мысль, ибо как не назвать новую мысль вашу собрать вышеупомянутые четыре стиха из разных мест комедии и поставить их вместе, как будто они в самом деле один монолог составляют. Намерение и новое и прекрасное. Вот эти стихи:

Кто промелькнет, отворит дверь,
Проездом, случаем, изчужа, издалека.
Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит!
С сомнением смотрите от ног до головы.

Вам кажется, что будто бы здесь сказано: отворить дверь случаем, издалека, проездом; напрасно вам это кажется: для близоруких поставлена после слова дверь запятая, и глагол отворить ни по смыслу, ни по грамматике не может относиться к следующему стиху:

Проездом, случаем, изчужа, издалека...

Это пустая придирка. Нужно ли сказывать, что в сем стихе подразумевается глагол явиться или какой-либо другой. Такие сокращения весьма позволены в нашем языке; так, на<пример>, можно сказать: досада за эпиграмму вводит нас в заблуждения; от сей досады – пристрастие, предубеждение. Неужли в этой фразе к словам пристрастие, предубеждение вы отнесете глагол вводить?

Точно так же справедливо ваше замечание, что в сей комедии не разговорный слог. Не постигаю, как можно отважиться писать то, что решительно противоречит истине. Не знаю, кто-то в "Сыне Отечества" сказал, что до Грибоедова мы не имели в комедии разговорного слога, и эта мысль совершенно справедлива: до Грибоедова слог наших комедий был слепком слога французских; натянутые, выглаженные фразы, заключенные в шестистопных стихах, приправленные именами Милонов и Милен, заставляли почитать даже оригинальные комедии переводными; непринужденность была согнана с комической сцены; у одного г-на Грибоедова мы находим непринужденный, легкий, совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного в слоге находим мы колорит русский. В сем случае нельзя доказывать теоретически; но вот практическое доказательство истины слов моих: почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли – стихи из "Горя от ума".

Теперь надлежало бы мне отвечать на ваши привязки к "Телеграфу"; но

они столь мелки, что жаль тратить для ответа на них и бумагу, и время. Сверх того, издатель "Телеграфа"6, кажется, поставил себе за правило не отвечать на критики, помещаемые на него в разных журналах: он, по-видимому, пользуется справедливыми замечаниями, оставляет без внимания привязки и предоставляет пустые перебранки тем, которые стараются о том только, чтобы чем-нибудь да наполнить листы своих журналов. Всякий мыслящий человек знает, как легко перебраниваться и как скучно от этого читателям.

Итак, здесь оканчиваю мою статью. Мое дело сделано: ни одно замечание г-на Дмитриева на "Горе от ума" не осталось непроверженным. Что же составляет теперь статью г. Дмитриева? Шутки совсем не забавные, остроты нимало не острые и бессильное желание унижить произведение, делающее честь нашему времени! - Пусть читатели нас рассудят - если им удастся согласить хотя одно из бесчисленных противоречий в статье г. Дмитриева.

Прочитавши снова мною написанное, вижу, что напрасно я сам в статье моей дал место шуткам и намекам, может быть, также совсем не забавным; справедливость защищаемого мною дела столь явна, что достаточно было бы одних сухих доказательств для преклонения на правую сторону сомневающихся. Может быть, по сим шуткам обвинят меня в пристрастии - но так и быть: люди благомыслящие найдут во мне пристрастие к прекрасному и непримиримую ненависть к бессильной посредственности.

У. У.

P. S. Еще одно замечание. Г. Дмитриев уверяет, что он не хочет входить в состязание с "Телеграфом", и в то же время сам объявляет ему войну. Одно к одному! Как вместить в маленькую статью такое множество противоречий? Как на каждом шагу подавать самому на себя оружие?

ПАРАДОКСЫ

1. Древние подозревали, чаю луч света может быть разложен на составные части и подчинен математическим выкладкам. Мы - древние; изящные искусства - луч света; когда-нибудь найдется их вычисление.

2. Каждый художник имеет свою особую теорию; он не думает об ней, создавая; но мысли его сами подчиняются однажды принятым формам. Критика должна быть основана на одной общей теории; частные мнения каждого художника входят в нее, как переменные количества в общую алгебраическую формулу.

3. Чтобы отыскать правила драматической поэзии, состоящей из действий и разговора, должно найти чистую теорию действия и теорию разговора. Отсюда выведутся правила трагедии, комедии (характерной, нравов и основанной на интриге) и драмы. Опера, балет и водевиль, отличающиеся только наружкою формою, не могут иметь постоянных правил.

4. Кроме таланта, два условия составляют великого художника: уверенность, что он сам рожден для своего искусства, и равная уверенность, что все может быть предметом его искусства.

5. Большая часть комиков пишут оттого, что Аристофан, Шекспир и Мольер писали до них. Хорошие комики пишут оттого, что в человеке находят смешное и отвратительное.

6. Смешное есть отрицательная сторона мысли.

7. В наше время поэзия будет мертва без помощи истории, как физика без математики.

8. Едва ли теперь можно успеть трагедиею. Современных предметов нельзя описывать, а где трагик найдет происшествия занимательнее тех, которыми ознаменованы последние пятьдесят лет?

9. Нравственная цель сочинения не в торжестве добродетели и не в наказании порока. Пусть художник заставит меня завидовать угнетенной добродетели и презирать торжествующий порок.

10. Что сказано выше (см. □ 2) о теории, можно повторить и об нравственной цели; ее нельзя втеснить в сочинение: она должна быть с ребячества врезана в душу сочинителя.

11. Чтение - зеркало: наблюдение - самый предмет; чтение первый шаг к подражанию; наблюдение верный путь к созиданию.

12. Подражатели подражателей похожи на многократный отголосок,

повторяющий звуки с постепенным ослаблением.

13. Подражание природе – в созидании из тех же материалов, по тем же законам. Если художник худо соединил прекрасные материалы, то смело переделывайте его творение; такое подражание равняется изобретению: так подражал неподражаемый Мольер.

14. Староверы вопиют против трагедий и комедий, писанных не шестистопными стихами. Ультраромантики уверяют, что прошел век шестистопных стихов. Люди благомыслящие не спрашивают, какими стихами, но хорошо ли написано сочинение.

15. Главное различие между романтической и классической драмой не в соблюдении или нарушении единства места и времени, но в лицах второстепенных. Классическая драма совершенно подчиняет их главному лицу: зритель не может вообразить их самобытной жизни. Романтическая драма, напротив, подчиняя второстепенные лица не главному лицу, но общему ходу пьесы, не отнимает у них самобытности.

16. Характерная комедия и вымышленная трагедия должны были родиться в классических формах.

17. Комик должен усиливать характеры и никогда не изображать портретов: самое забавное происшествие может показаться скучным в рассказе.

18. Мы, русские, последние пришли на поприще словесности. Не нам ли определено заменить эпопею, теперь невозможную, драмой, соединяющей в себе все роды словесности и все искусства? Кн. Шаховской¹ сделал опыты ("Финн", "Аристофан", "Керим-Гирей"); должно ими воспользоваться.

19. Уму человеческому предназначен полный круг действия. Всем векам и всем народам принадлежат писатели и произведения, дополняющие этот круг выражением новых мыслей и чувств или изобретением небывалых форм изящного. Прочную славою между согражданами пользуются писатели, дополнившие в своей словесности то, в чем она отстала от словесности других народов. Временная известность – удел писателей, не выполняющих ни одного из сих двух условий.

20. Кроме поэзии, общей всем искусствам, каждое имеет еще низшую ремесленную часть. Отделка стихов – ремесленная часть стихотворства.

21. Перевод – пробный камень поэтов-ремесленников.

22. В стихотворном изображении исторических предметов должно следовать хорошим портретным живописцам, которые более списывают выражение лица, нежели черты. Кто будет порицать живописца, увидя себя несколько лучше на портрете?

23. Мольер схватил черты вечного смешного. Трудно решить, кого он лучше знал: оригиналы или зрителей?

24. Почти везде религия породила искусства. Благодарность к помыслу исторгла их из души человека, и он захотел непременно созданием заплатить за создание.

25. Если скажут, что мои мысли уже были кем-нибудь выражены: то можно скорее поручиться за их справедливость. Если найдут, что они новы, но несправедливы: то, по крайней мере, мне останется честь изобретения. Если ж заметят, что они и стары и несправедливы: то я рад буду случаю узнать новое и отстать от несправедливого.

<ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ>

Поэзия и философия
1830, май 16-е.

Что наиболее меня убеждает в вечности моей души – это ее общность. На поверхности человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе, так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; книги и люди могут лишь ему представить предметы для сравнения с тем, что находится в нем самом; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или – другими словами – никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ

одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным характерам лица, один стремится извергнуть свою душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства лишь внутри святилища. В религии соединяется и то и другое. Религия выносит на свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая ее, в новейшие постарались заменить ее, в будущем они снова сольются с ней.

От сего свойства души происходит совершенная свобода поэзии и философии. От сего каждая система, каждое произведение, взятые отдельно, могут быть ложными или безобразными, истинными или изящными, ибо она выражает индивидуальный характер лица, но все системы вместе, все произведения поэзии не могут быть ни истинными, ни ложными, ни изящными, ни безобразными: они, как творец вселенной, не имеют индивидуального характера. Оттого душа человека божественна, оттого высоко звание человека, а тем более поэта или философа, как жрецов святилища, наиболее близких к божеству.

Сия общность души, индивидуальный характер лица были поводом к двум системам противоположным: одни (Гельвеций*) полагали, что все люди равными рождаются на свет, другие – что все зависит от развития организации лиц, и та и другая сторона называют истинную сторону, но обе не полны; душа равна у всех людей, но развиты индивидуальные характеры, сквозь которые мы ее видим, оттого споры и вражды между людьми. Вот еще причина нашего благоговения к поэту. Он один мирит людей между собою, открывая завесу с таинств души, если бы которую сорвать совершенно, то тогда все бы споры и все бы вражды прекратились, но эти споры и вражды суть жизнь человеческого общества, оттого Платон и изгонял из оного поэтов <...> но оттого простолюдины по какому-то инстинкту более уважают поэтов, нежели философов <...>

(Поэт – пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живет он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном пути, а не на противоестественном. Все прочие люди только исполняют, оттого стихи поэзии должны, вопреки Платону, входить в состав политического общества. В различии этой мысли с мыслью Платона видно различие старого общества от нового.)

Кто же больше имеет значения – поэт или философ? Сей вопрос существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души, ибо он гостя времени, которое философ употребляет на большее погружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы, но зато он все же что-либо, но выносит на свет; истинный философ не унижается до сего, если он и берет в руку перо, то есть становится на минуту поэтом, то ждет образов наиболее близких к чистым идеалам души, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постигнуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии разовьется поэзия и философия, что в звуках кроме мелодии есть гармония или, лучше, что мелодия в чреве своем носила гармонию.

Искусство

Человек так же выше своего произведения, как элементы выше предметов, ими производимых, трудом может дойти от стадий предметов до элементов, но еще труднее от произведения к человеку, ибо произведения человека столь же выше произведений природы, сколько человек выше элементов.

Искусство подражать природе не может; я, скорее, соглашусь, что природа должна подражать искусству; одно так же неверно, как и другое. Кажется, что в искусстве ближе роману может подражать человеческой жизни, и поэтому многие советуют описывать в романе все подробности ежедневной жизни и говорят, что такое описание дня одного человека бывает интереснее романа². Согласен, но описывайте же все для того, чтобы было сходно с оригиналом, не ограничивайтесь описанием бывших действий, слов, но опишите

пружины действующих, опишите миллионы различных мыслей и чувств, из которых каждое произошло от миллиона различных воспоминаний, из которых каждое в свою очередь произошло от миллиона различных обстоятельств, расположений духа и проч., и проч. и которые все с быстротой, для вас незаметною, заставили вас сделать такой-то поступок, сказав такие-то слова. Только описавши все сии трудности, вы можете сказать, что описали природу; но сие ни a priori, ни a posteriori невозможно; подражая природе или описывая ее, вы будете только описывать раздробленные члены, будете описывать лишь занавеску, а не то, что за нею делается, но никогда не перенесете в свои произведения того, что составляет главное свойство природы - целость, полноту.

Такая целость может быть лишь в искусстве, когда на него смотрим как на особенный мир, имеющий свои особенные свойства и законы; законы сии совершенно противоположны природе. Сие в одно мгновение захватывает века и пространство; искусство, напротив, каждое мгновение изучает как произведение веков и пространства.

<О теории изящного. 1831 >

Едва ли возможна теория изящного. Всякий предмет мы можем представить теоретически и выразить. Но точно так же, как основание высшей идеи философии есть сама ее идея, так точно основание изящного находится лишь в самом произведении. Это как цвета белый и черный по краям ряда призматических цветов; они суть родоначальники всех цветов, между ними находящихся, но сами невидимы.

Человек производит изящные предметы, как дерево производит плоды. Мы хвалим и различаем плоды дерева лишь в отношении к нам: кто скажет, что в таком-то плоде менее отражается или совсем не отражается сущность природы? То же и с произведением. Каждое изящно в своей сфере как произведение, как плод. Мы видим различие между плодом, который производит хлебная плесень, и роскошною кистью винограда. Но пусть определят мне различие между ними. Сходство их в том, что в обоих отразилась сущность природы. Различие в том, что в винограде природа употребила большое количество сил своих, более развила их, сместив их в небольшое пространство, а в плесени менее. Так и в произведениях человека. Там, где наиболее отразились силы души человеческой, - то произведение выше. Но тут рождается новый вопрос: силы души человека, умом возвышенного, или простолюдина? Без сомнения, произведения человека, умом возвышенного, выше 3. Но теперь как определить то, что обыкновенно называется нравится. Одному нравится "Илиада", другому - "Бова Королевич" 4. Кто судья между ними? Скажут: различие между возвышенным читателем и читателем-простолюдином. Но это различие предполагает новое судилище, которое в свою очередь предполагает еще новое, и так до бесконечности. Какое следствие из всего этого? Что если может существовать теория законов изящного, как теория законов, например, растительного царства, то, наоборот, всегда будет бездна между сими законами и способом, которым идея становится явлением; как, например, каким образом идея дуба развивается в дубе из желудя. Следовательно, критика есть собрание des questions oiseuses *. Она может определить достоинство явлений в таком-то месте и в такое-то время, то есть относительно, но никогда <не> безусловно. Кто имеет право сказать готтентоту5 что его Венера хуже Медицейскойб? Ему можно сказать только, что его Венера для нас чудовище, что он равным образом имеет право сказать нам. Но отчего нам нравится Медицейская В<енера>, ему готтентотская? Оттого, что каждая из них соответствует степени или, лучше сказать, сфере, в которой мы или готтентот находится, которые различаются как 1 от 2, 2 от 3 и так далее.

<О способах выражения идеи. 1832 >

Наши предки очень любили сказочки о каком-то Царе Кошее. Наскучив огромным книгохранилищем, велели сделать крепкий экстракт, который весь уместился на пальмовом листике. Прекрасно! Я понимаю, что человек в нескольких мыслях может заключить всю вселенную, духовную и телесную, но я желал бы знать, на каком языке был написан этот пальмовый листочек. На

каком языке писавшие нашли довольно точных выражений, чтобы выразить то, чего недосказали все слова на всех языках - и к чему сведены все мысли, все во-

* праздных вопросов (франц.).

просы человека: сущность существования. Между тем мы понимаем эту сущность, мы ее чувствуем - хотим ли выразить, - и слово просит другого, это слово третьего, и так до бесконечности. И так не с одной этой идеей, но со всеми - объясните мне словами чувство благоговения, объясните мне чувство восторга - вы их понимаете, хотите ли выразить их словами - и существенная их часть улетает как жизнь под анатомическим ножом, вы видите ряд слов как геометрическую бесконечную прогрессию, которой не можете отыскать последнего члена. Но как вы понимаете это чувство, входя в храм, вслушиваясь в музыку, читая стихи, в коих совсем дело не идет ни о восторге, ни о благоговении. Стало быть, должен быть какой-то другой язык, которого части речи скрыты в архитектуре, в поэзии, в музыке? Какой же это язык? Его свойство - неопределенность; это свойство мы замечаем в стихотворстве, еще более в живописи, еще более в архитектуре, еще более в музыке. Следственно, язык музыки приближается наиболее к сему внутреннему языку, на котором есть выражение для идей, посему музыка есть высшая наука и искусство⁷. Будет время, когда, может быть, все способы выражения сольются в музыку. Древние как бы предчувствовали темно это, соединив все науки под общее название музыки, или это было воспоминание первого выражения человечества во времени его младенчества.

<Классицизм и романтизм 3>

Главнейшая ошибка теории классицизма состояла в том, что по оной сочинитель должен был не прежде приступить к сочинению, <как> охолодевши и рассчитывая все его части математически. Рассудок всегда в сих расчетах основывается на прошедших опытах, своих и чужих, и оттого сочинитель, составивший по сей теории смету своего здания, невольно был холодным подражателем своих предшественников, что так было явно, что классические теоретики нечувствительно дошли до мысли о том, что не только должно подражать природе, но даже образам произведений (*grand mo-delis*), упуская из виду, что произведение искусства есть свободное независимое создание. Наши романтики, думая, что они освободились от цепей классицизма, не придерживаясь его правил, не освободились от привычки к предшествующим расчетам. Как жалок Шатобриан⁹, когда он силится доказать, что в своих "*Les Martyrs*" * ни одно его действующее ли-

* Chateaubriand. *Les Martyrs*, 1809. Русский перевод В. Коркелиуса - "Мученики, или Торжество христианской веры", М., 1816. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

цо не скажет слова, не покажет носа без предварительного его расчета, и как оттого скучна его прекрасная по предмету поэма. Что бы вы сказали о музыканте, который вместо того чтобы писать прямо партитуру, стал бы наперед отыскивать привычные пассажи на каждом инструменте оркестра? Сочинение было бы, может, очень правильно, но куда бы делся огонь - жизнь сочинения! Бетховен¹⁰ писал партитуру прямо, пораженный своею мыслию, и невольно, сам не зная как, порождал новые эффекты инструментов, прежде ему самому не известные. Пораженный сильным впечатлением, должен писать тотчас, немедля, и из его земной мысли разовьются новые явления, для него самого неожиданные, проявившиеся в индивидуальности его духа.

<ДВЕ ЗАМЕТКИ О ГОГОЛЕ1>

<1>

Хорошее во всяком роде трудно и легко; легко для гения, трудно для

[таланта] простого дарования, которое также может возвышаться до гения. Но в двух родах романа к трудности вымысла присоединяется трудность выражения; эти два рода: роман в нравах высшего общества и самого низшего. Представить разговор человека высшего общества трудно, ибо у него часто пробежат в душе самые сильные бури, а он для их выражения употребит самое незначущее слово. Сколько усилий потребно романисту для того, чтобы читатель понял значение этого слова; как для сего надобно рассказать всю историю жизни его выговорившего. - Человек низшего класса также имеет свою скрытность - но в другом роде, он вам говорит совсем не то, что он думает или что хочет сказать, и оттого, по-видимому, говорит бессмыслицу. Когда вы в самом деле, так сказать, наяву ее услышите - она рассмешит вас и только; но в мире искусства другие законы - здесь бессмыслица остается просто бессмыслицею. Чтобы выразить эту черту, без которой характер разговора простолюдина будет всегда не полон, надобно для выражения сей черты найти такую речь, которая бы соответствовала и характеру простолюдина и требованиям искусства. Это до сих <пор> понимали немногие романисты - а из русских (извините!) никто, кроме [Рудого Панька] сочинителя Шпоньки, и оттого у них разговор простона<родный> - просто глуп. Так, напр., в разбираемой нами повести [о том] Ив. Ив. [говорит] спрашивает у бабы: какое это ружье? - баба отвечает: кажись, железное. - У Ивана Ивановича вертится в голове, как бы получить это ружье, и очень бы ему хотелось получить у нее совета, что ему сделать в этом случае, - но вместо того эта мысль получает у него следующее выражение: отчего ж оно железное?

<2>

<Надпись на книге Н. Герсеванова>

Прочитав эту книгу, невольно приходишь к убеждению, что автор находится в патологическом состоянии, довольно любопытном; его общее раздражение сосредоточилось на одном предмете, случайно ему попавшемся под руку. Так полупомешанные говорят довольно здраво о разных предметах: расстройство их ума проявляется лишь в повторении одной и той же фразы, как-то случайно им услышанной или самим сказанной. В больной голове сочинителя должна таиться мысль о его каком-то призвании - быть Немезидой Гоголю за оскорбленную им Россию. С другой стороны, здесь отражается один из сквернейших элементов нашего народного характера: непреодолимое желание пошибить спеси, у кого бы то ни было, хоть у мертвого, - без всякой особой причины, а только потому - чтобы он (мертвый) не слишком зазнался.

О ВРАЖДЕ К ПРОСВЕЩЕНИЮ,
ЗАМЕЧАЕМОЙ В НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ

...Нежное растение наука!

.....
Чуть солнце опалит, иль чуть мороз прохватит недолго

.....
К земле наклонится она. Зато
Как... корни глубоко в земле раскинет...
Пружины государственные ею,
Невидимые, видимые связи
Скрепятся, отвердеют, и ничем
Никто того уж царства не своротит.
Обязанность священна там, и дорог
Покой общественный, и смерть за славу!
(Петр Великий - в Сценах из его жизни,
соч. Погодина.)

Некогда находились в русской литературе люди, которые осмеливались утверждать, что русские должны иметь свою собственную литературу, по-своему писать и по-своему думать; литературная чернь смеялась над этими умниками и со всеусердием продолжала переводить Коцебу и Дюкре-Дюмениля². - Наконец, в

Европе люди с талантом обратились к отечественным предметам; национальность была разработана во всех литературах; явились народные исторические драмы и повести. Посредственность потянулась вслед за талантом и довела исторический род до нелепости; в настоящую минуту не осталось почти ни одного порядочного великого человека и ни одной части его платья, которые бы не были оклеветаны каким-либо драматиком или романистом. Тогда догадались и наши так называемые сочинители³: попробовали – трудно; наконец взялись за ум; раскрыли "Историю" Карамзина, вырезали из нее несколько страниц, склеили вместе – и к неописанной радости сделали разом три открытия: 1-е, что такое произведение читатели с небольшим усилием могут принять за роман или за трагедию, 2-е, что с русского переводить гораздо удобнее, нежели с иностранного, и 3-е, что, следственно, сочинять совсем не так трудно, как прежде полагали. В самом деле, смотришь – русские имена, а та же французская мелодрама. И многие, многие пустились в драмы и особенно в романы; а критика – этот позор русской литературы – установила для сих произведений особые правила. За недостатком исторических свидетельств решили, что настоящие русские нравы сохранились между нынешними извозчиками, и вследствие того осудили какого-либо потомка Ярославичей читать изображение характера своего знаменитого предка, в точности списанное с его кучера; вследствие тех же правил, кто употреблял русские имена, того критика называла национальным трагиком, кто бессовестнее выписывал из Карамзина, того называла национальным романистом, – и гг. А, Б, В хвастались перед читателями, а читатели радовались, что в романе нет ни одного слова, которое бы не было взято из истории; многие находили это средство очень полезным для распространения исторических познаний. До сих пор все еще шло хорошо; но скоро исторический род наскучил в Европе: там опытные в литературе люди обратились к другой точке зрения; они посмотрели вокруг себя, заметили много смешного, много грустного, вспомнили о романах, которые были в моде у отцов наших – и составилась ново-старый род под названием нравственно-сатирического. Но как быть? так много было писано в этом роде! все возможные пороки и слабости человека подробно описаны в повестях и выведены на сцену: скупцы, мизантропы, ревнивцы, завистники, невежды были несколько раз выворочены и наизнанку, и опять налицо, и совсем износились. Что было делать? Иностранным романистам-сатирикам помогло просвещение. Да, мм. гг., просвещение! При быстром и многостороннем своем движении, проникая во все классы народа, сделавшись добычей людей различных организаций, оно необходимо должно было произвести некоторые странности, собственно безвредные и исчезающие в истории. Мечты, казавшиеся нелепостью и впоследствии оправданные опытом, породили людей с мечтами действительно нелепыми; кабинетные труды ученого⁴, обратившиеся в постановления для целых народов, породили толпу прожектеров, предлагавших публике неисполнимые законы для преобразования общества; произведения мрачного гения⁵, возвысившего презрение к людям до поэтического вдохновения, произвели толпу людей, притворившихся несчастливцами в этой жизни, как будто бы они понимали другую, лучшую. – Во всем этом было много странного, много смешного и много драматического. Романисты не замедлили воспользоваться этими новыми предметами; в это же время демократический дух повеял на Европу; к нему присоединился дух партии – и из всего этого составилась новый, действительно чудовищный род литературы, основанный на презрении к просвещению, исполненный ребяческих жалоб на несовершенство ума человеческого, ребяческих воспоминаний о счастливом невежестве предков, возгласов против философии, против машин, и, наконец, исполненный преступных похвал простоте черни и мужеству ремесленников, разрушающих прядильные машины. Этот род литературы явился в Европе во всех возможных видах: и повестей, и водевилей, и догматических прений; одни хватались за него, как за средство сказать нечто противное общему здравому смыслу и, следственно, все-таки нечто новое; другие – по причинам вовсе не литературным. Все это до некоторой степени понятно в престарелой Европе и имеет свое значение. Но дошла очередь до наших сатириков; вместо того, чтобы посмотреть вокруг себя, углубиться в отечественные нравы, в них отыскать им свойственные оригинальные черты, способные быть перенесенными в мир литературный, – они, поставленные счастливою судьбою среди народа свежего, юного, в эпоху самую драматическую, какая только может быть в истории страны, эпоху слияния народности с общею образованностью, – наши сатирики не заметили ничего

этого, а по старой памяти пустились в подражание иностранцам: они напали... как вы думаете на что? На просвещение! Как будто это юное растение, посаженное мудрой десницей Петра и донны с такими усилиями поддерживаемое правительством и - извините - одним правительством, как будто оно достигло уже полного развития, утучнело уже производить те ненужные отпрыски, которые замечаются в старой Европе!.. Нет; может быть, никогда дух подражания, владычествующий над нашей литературой, не был столько пагубен! Не против злоупотребления науки вооружились наши сатирики, но против самой науки; забыты примеры Фонвизина, Капниста, Грибоедова⁶, их глубокое значение современных нравов, их верный взгляд на наши недостатки, их благородное стремление... Отличительным характером наших сатириков сделалось - попадать редко и метить всегда мимо. Два, три человека занимаются у нас агрономиею; благомыслящие люди делают невероятные усилия, чтобы распространить прямое знание о сей науке, которое одно может отвратить грозящее нашим нивам бесплодие; два, три человека собираются толковать о философских системах, по слуху известных нашим литераторам; так называемые ученые (т. е. между литераторов) с грехом пополам щечатся⁷ вокруг словарей и энциклопедий; а наши нравоописатели толкуют о вреде, происходящем от излишней учености, о вреде машин, пишут романы и повести, комедии, в которых выводятся на сцену какие-то господа Верхоглядовы, не только не существующие, но невозможные в России; выводятся философы, агрономы, нововводители - как будто бы существование этих лиц было характерною чертою в нашем обществе! Названия наук, неизвестных нашим сатирикам, служат для них обильным источником для шуток, словно для школьников, досаждующих на ученость своего строгого учителя; лучшие умы нашего и прошедшего времени: Шампольон, Шеллинг, Гегель, Гаммер⁸, особенно Гаммер, снискавшие признательность всего просвещенного мира, обращены в предметы лакейских насмешек, "лакейских" говорим, ибо цинизм их таков, что может быть порожден лишь грубым, неблагодарным невежеством. От этого создания некоторых из наших романистов доходят до совершенной нелепости. Этого мало. В старой Европе ужасы конца XVIII столетия отозвались в нынешней литературе по той же причине, почему идиллическая и жеманная поэзия прежнего времени отозвалась в век терроризма*. Так должно быть по естественному порядку вещей, ибо литература, вопреки общепринятому мнению, есть всегда выражение прошедшего; для многих из нынешних европейских сочинителей эти ужасы суть воспоминания детства, а воспоминания детства всегда сильно действуют на сочинителя и невольно проникают во все его произведения; оттого многие из этих господ углубились в грустные исключения из общей жизни человечества и обработали их с большим или меньшим талантом, с большею или меньшею благопристойностию. Наши романисты не заметили этого хода нервической горячки; в фанатизме подражания не усомнились схватиться за это средство для поддержания благосклонности публики, сколько было возможно, и нельзя без смеха читать, как некоторые из этих господ, нападая без милосердия на французских романистов, без милосердия же стараются перенять их нелепый выбор предметов, напыщенный, натянутый слог и даже самую неблагопристойность, все по мере возможности. Фантастический род, на который была также мода в Европе и который, может быть, больше, нежели все другие роды, должен изменяться по национальному характеру, долженствующий соединять в себе народные поверья с девственною мечтою младенчества, - этот род целиком перешел в наши произведения и достиг до состояния настоящего бреда с тою разницею, что этот бред не есть бред естественный, который все-таки может быть любопытным, но бред, холодно перенесенный из иностранной книги. Наконец, демократический дух, составляющий особый колорит в европейских романах, также переселился в наши романы; но у нас обратился в безусловные похвалы черни и в нападки на высшее общество, большую частью недоступное нашим сатирикам.

Легкость сочинения такого рода подняла снизу всю литературную тину: люди, едва знающие грамоте, и люди, знающие ее, но без поэтического призвания, люди всякого образования и люди со знаниями, достаточными для составления словаря или азбуки, и которые могли бы быть весьма полезными в этой части, - все пустилось в сатирические, историко-нравственные и фантастические произведения разного рода. В этих произведениях не ищите убеждения, откровенности; не ищите новой точки зрения, которая делает рассказ

* Известно, что Робеспьер⁹ и компания писали нежные мадригалы. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

занимательным, если не по происшествию, то, по крайней мере, по рассказчику; не ищите тех глубоких изысканий, которые поднимают пред вами завесу с старинных нравов или с тайных движений души современников; не ищите того поэтического волшебства, которое, при недостатке исторических свидетельств, угадывает прошедшее и настоящее; не ищите и простосердечного естественного описания нравов и характеров; не ищите ничего девственного, невольно вылившегося из души... В сотнях томов вместо силы – напыщенность, вместо оригинального – чудовищное, вместо остроты – площадные шутки, – и между тем все чужое, все неестественное, все несуществующее в наших нравах.

Что же делала критика?

А что за дело критике? Какая нужда ей, что литература принимает такое гибельное направление? Разве оно помешает сбыту дурных книг? Напротив, поможет. Ведь критика сама золотых дел мастер*; ее дело в том, чтобы книги, т. е. собственные ее, продавались: и в этом она успевает. На просторе никто не мешает ей называть себя Гёте, Байроном, уверять публику, что она одна, т. е. критика, заботится о ней, публике; никто не мешает критике в случае нужды изъявлять свое благоволение к читателям, в случае нужды сравнивать лучший талант в России** с Поль де Коком¹¹... Это все в порядке вещей, – и от критики другого требовать нечего, да и не следует: она занимается своим мастерством; это мастерство прибыльно и будет прибыльно до тех пор, пока не найдутся другие мастеровые и не перечтут по пальцам всех хитростей своих собратий, а что всего важнее, докажут на опыте, что можно писать книги и не потворствовать развращенному вкусу и разрушительным мыслям, что можно быть критиком и не иметь в виду лишь распродажи собственных книг...

Любопытнее всего знать: что делали читатели?.. А читателям что за дело? Были бы книги. Случалось ли вам спрашивать у девушки, недавно вышедшей из пансиона: какую вы читаете книжку? "Французскую", – отвечает она; в этом ответе разгадка неимоверного успеха многих книг скучных, нелепых, налитых площадным духом. Да, наши читатели хотят читать и потому читают все: "лучшая приправа к обеду, – говорили спартанцы, – голод". А, нечего сказать, бедных читателей потчуют довольно горьким зельем; но, впрочем, романисты и комики умеют подсластить его, и это злое зелье многим приходится по вкусу. Вот каким образом

* Vous, eles orfevre, monsieur Josse. <Вы ювелир, месье Жосс (франц.) .10

** Именно: Гоголя. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

это происходит. Вообразите себе деревенского помещика, живущего в стенной глуши; он живет очень весело: поутру он ездит с собаками, вечером раскладывает гранпасьянс, а в промежутках проматывает свой доход в карты; зато у него в деревне нет никаких новостей, ни английских плугов, ни экстирпаторов, ни школ, ни картофеля; он всего этого терпеть не может. Помещик не в духе, да и не мудрено: земля у него что-то испортилась: он твердо держится тех же правил в земледелии, которых держались и дед и отец его, – а земля и вполтину того не приносит, что прежде... чудное дело! Да еще к большей досаде, у соседа, у которого земля 30 лет тому назад была гораздо хуже, земля исправилась и приносит втрое более дохода; а уж над этим ли соседом не смеялся наш добрый помещик, и над его плугами, и над экстирпаторами, и над молотильнею, и над веялкою? Вот к помещику приезжает его племянник из университета, видит горькое хозяйство своего дядюшки и советует... как бы вы думали?.. советует подражать соседу, толкует дядюшке об агрономии, о лесоводстве, о чугунных дорогах, о пособиях, которые правительством щедрою рукою предлагает всякому промышленному и ученому человеку. Дядюшке это не по сердцу; с горя он открывает книгу, которую рекомендовал ему приятель из земского суда, с которым он в близких связях по разным процессам. Дядюшка читает – и что же? о восторг! о восхищенье! Сочинитель, который напечатал книгу, и потому, следственно, должен быть человек умный, ученый и благомыслящий, говорит читателю, или, по крайней мере, читатель так понимает его: "Поверьте мне, все ученые – дураки, все

науки - сущий вздор, знаменитый Гаммер - невежда, Шампольон - враль, Гомфрий Деви¹² - вольнодумец, вы, милостивый государь, настоящий мудрец, живите по-прежнему, раскладывайте гранпасьянс, не думайте обо всех этих плугах, машинах, от которых только разоряются работники и от которых происходит только зло: на что вам агрономия? она хороша там, где мало земли; на что вам минералогия, зоология? вы знаете лучшую науку - правдологию..." - И помещик смеется: он понимает остроту; он очень доволен, он дочитывает прекрасную книгу до конца. Когда заговорит племянник об агрономии, он обличает его заблуждения печатными строками, рекомендует утешительное произведение своим собратиям, и у удивленного издателя являются неожиданные читатели; а между тем, в понятиях добрых помещиков все смешивается, вольнодумство с благими действиями просвещения, молотильня с затеями беспокойных голов, во всяком улучшении они видят лишь вредное нововведение, в удовлетворении своему эгоизму и лени - истинную истину; настоящий русский дух они находят лишь в мнении своих крестьян о том, что не должно сеять картофель и что надлежит непременно оставлять третье поле под паром.

Так погубно действует пустое, детское подражание иностранным бредням на нижние слои общества; так невольно унижают свое звание писатели; так мало содействуют они благим пожеланиям правительства о нашем благом просвещении!

Эти наблюдения не должны оскорблять никого; мы не имели в виду никого в особенности, но лишь действие, производимое на читателей некоторыми из новейших произведений; нами руководило грустное, но справедливое и бескорыстное чувство. Будущее решит, кто прав и кто виноват в этом случае!..

КАК ПИШУТСЯ У НАС РОМАНЫ

У нас многие думают, что можно написать хороший роман без поэтического призвания. Честный, благородный человек пожил довольно на свете; видел много, много хорошего и много дурного; сердце его потрясилось при виде несправедливости, ум ужасался при виде нелепостей, в голове его набралось много опытов, много замечаний, много анекдотов: как бы хорошо все это передать другим людям! Но как связать между собою набранные материалы? Написать нравственный трактат для всякого, хотя и умного в частной жизни человека, дело нелегкое: оно требует познаний, а учиться уже некогда; к тому же такое сочинение подвергается строгой критике, - а между тем очень жаль бросить все, что набралось в продолжение долгой и деятельной жизни. Что ж делает наш умный человек? Он берет первое романическое происшествие, пришедшее ему в голову, и все свои мысли и наблюдения вклеивает, как заплатки, в свое произведение; навязывает свои мысли лицам, введенным на сцену; кстати и некстати рассказывает анекдоты, ему известные. Все это может быть очень любопытно; но мы не думаем, чтобы таким способом можно было написать хороший роман, и в этом сошлемся на самих сочинителей: многие из них откровенно признаются, что пишут роман для того только, чтобы описать такую-то страну, такой-то век; немногие имеют притязание собственно на авторство! Цель ваша прекрасна, даже до некоторой степени полезна, особенно для вас: ибо заставляет вас отдавать себе отчет в своих мыслях; но таким образом нельзя произвести живого органического произведения, каким должен быть роман: ибо для романа нужно - знаете ли что? - нужно немножко поэзии. Романисту-поэту предмет романа является нежданно, сомнамбулически; он преследует его, мучит его, как живой человек; когда поэт пишет - он пишет, забывая о самом себе, он живет в лицах, им созданных, самые его собственные мысли, незаметно для него самого, сливаются с лицами, им выводимыми на сцену. Так ли вы писали? Вспомните хорошенько: вы сядились за тетрадь в свободное от дел время, вы искали не слов для своего лица, но лиц для ваших слов; для того чтоб поместить хорошую (отдельно) мысль, вы выдумали происшествие; вы хоть насильно, но заставляли вашего героя высказывать то, что вам хотелось, хотя бы он по законам искусства и не должен был говорить о том; ваш герой - ваш раб: вы не уважаете его характера, вы уважаете лишь свои собственные опыты, свои наблюдения. От этого что происходит? Живое действует живым образом: самые отвлеченные

мысли - когда они срослись с созданным лицом, когда составляют его собственность - интересуют всякого читателя и производят сильное действие, и вот вам пример: в Дон Кихоте вы найдете глубокие, даже отвлеченные мысли, которые, если бы отделить от этого лица, были бы сухи и недоступны для большей части читателей; но эти мысли естественно принадлежат лицам, выведенным на сцену: оттого эти мысли, даже апофегмы¹, не скучны, но понятны всякому, проходят в душу и производят свое впечатление. Но с романами, о которых мы говорим, происходит совсем другое. Знаете ли, как большая часть читателей читает ваши романы? Они пересказывают чрез самые ваши дорогие мысли, опыты и наблюдения и ищут в вашем романе именно того, что вам казалось второстепенным, т. е. романа. Не говорите, что ваши лица не суть произведения фантазии, что они должны быть истинны, ибо списаны вами с природы со всею точностью: тем хуже! Ваши описания верны и прекрасны, как могут быть верны и прекрасны хорошо нарисованные котлеты и другие съестные припасы фламандской школы! Пишите просто собственные записки, не гоняясь за фантазией и не называя их романом: тогда ваша книга будет иметь интерес всякой летописи, и произойдет еще та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман: ибо такое расположение духа в читателе губительно для всего того, что вы почитаете лучшим в своем сочинении. Не обманывайтесь даже успехами: читатели ищут в ваших романах намеков на собственные имена, когда не ищут романа; иному и понравится какая-нибудь отдельная мысль, с натуры снятый характер; но вообще ваш роман для него, как и для всякого, вял, длинен, скучен, как могли бы быть вялы слова механической куклы в сравнении со словами живого человека.

О НАПАДЕНИЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЖУРНАЛОВ НА РУССКОГО ПОЭТА ПУШКИНА*

С некоторого времени у журналистов вошло в обыкновение не обращать внимания на статьи, помещаемые в "Северной пчеле"¹. Мы не можем одобрить этого равнодушия. Не должно позабывать, что сколь ни мало влияния производилось "Северною пчелою" на публику, - "Северная пчела" есть единственная в России политико-литературная газета, что "Северная пчела" есть единственный в России ежедневный листок, что статья, которая бы осталась незамеченною в книжке, сама бросается в глаза, когда напечатана на листке, что эту статью прочтет и человек, выписывающий "Северную пчелу" лишь для политических известий, прочтет невольно и литератор, потому что она попадетя ему под руку.

Правда, с некоторого времени "Северная пчела" обленилась, уверенная в равнодушии своих читателей - не литераторов, полагаясь на свою единственность в нашей журналистике. Изможденная справедливыми упреками других изданий, она живет простою корректурною жизнью, но иногда исподтишка является на сцену ее тактика, и в каком-нибудь углу листа пропалзывает статейка, которую нельзя читать без негодования и которую не должно оставлять без ответа.

Такова, между прочим, статья, помещенная в "Северной пчеле" по поводу перевода "Полтавы" Пушкина, статья, которую можно назвать сокращением всего того, что "Северная пчела", "Сын отечества" и "Библиотека для чтения", под раз-

* Статья эта написана в 1836 <году>; но в то время ее негде было напечатать, потому что в Петербурге не было литературных изданий, кроме тех, против которых она направлена. (Прим. В. Одоевского.).

ными видами, с некоторого времени стараются втолковать своим читателям*.

Здесь для людей, не следовавших за литературною тактикою некоторых журналов, надобно войти в некоторые объяснения.

Было время, когда Пушкин, беззаботный, беспечный, бросал свой драгоценный бисер на всяком перекрестке; сметливые люди его подымали, хвастались им, продавали и наживались; ремесло было прибыльно, стоило надоесть поэту и пустить в воздух несколько фраз о своем бескорыстии, о любви к наукам и к литературе. Поэт верил на слово, потому что имел

похвальное обыкновение даже не заглядывать в те статьи, которые помещались рядом с его произведениями. – Тогда все литературные промышленники стояли на коленях перед поэтом, курили пред ним фимиам похвалы заслуженной и незаслуженной, – тогда, если кто-либо, истинно благоговейший пред поэтом, осмеливался сказать, что он несогласен с тем или другим мнением Пушкина – о тогда! тогда горящие уголья сыпались на главу некстати откровенного рецензента. Поэт вспоминает об этом времени в "Евгении Онегине":

Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда!
E sempre bene, господа!

Но есть время всему. Пушкин возмужал, Пушкин понял свое значение в русской литературе, понял вес, который имя его придавало изданиям, удостоиваемым его произведениями; он посмотрел вокруг себя и был поражен печальной картиной нашей литературной расправы, – ее площадною бранью, ее коммерческим направлением, и имя Пушкина исчезло на многих, многих изданиях! Что было делать тогда литературным негоциантам? Некоторое время они продолжали свои похвалы, думая своим фимиамом умилостивить поэта. Но все было тщетно! Пушкин не удостоивал их ни крупицею с роскошного стола своего, и негоцианты, зная, что в их руках находится исключительное право литературной жизни и смерти, решились испытать, нельзя ли им обойтись без Пушкина.

* Относится к статье П. М-ского² о переводе "Полтавы" на малоросс. язык Е. П. Гребенки. "Северная пчела", 1836, № 162. "Мечты я вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою, князь мысли стал рабом толпы: орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим vorочать тяжелые колеса мельницы!" Вот что говорилось о Пушкине! (Прим. В. Ф. Одоевского.)

И замолкли похвалы поэту. Замолкли когда же? Когда Пушкин издал "Полтаву" и "Бориса Годунова", два произведения, доставившие ему прочное, неоспоримое право на звание первого поэта России! Об них почти никто не сказал ни слова, и это одно молчание говорит больше, нежели все наши так называемые разборы и критики.

Между тем новая гроза готовилась против поэта. Он не мог быть равнодушным зрителем нашей литературной анархии, – и несчастные промышленники открыли или думали открыть в "Литературной газете", в "Московском вестнике" некоторые статьи³, носившие на себе печать той силы, той пронизательности, того уменья в немногих словах заковывать много мыслей, которые доступны только Пушкину, и, наконец, той неумолимой насмешки, которая не прощала ни одной торговой мысли, которая на лилипутов накладывала печать неизгладимую и которой многие из рыцарей-промышленников, против воли, одолжены бессмертием.

Что было делать? Тяжел гнев поэта! Тяжело признаться пред подписчиками, что Пушкин не участвует в том или другом издании, что он даже явно обнаруживает свое негодование против людей, захвативших в свои руки литературную монополию! Придуманно другое: нельзя ли доказать, что Пушкин начал ослабевать, то есть именно с той минуты, как он перестал принимать участие в журналах этих господ? Доказать это было довольно трудно: "Полтава", "Борис Годунов", несметное множество мелких произведений, как драгоценные перлы, катались по всем концам святой Руси. Нельзя ли читателей приучить к этой мысли, намекая об ней стороною, с видом участия, сожаления?.. Над этим похвальным делом трудились многие, трудились прилежно и долго.

В статье "Северной пчелы", подавшей повод к нашим замечаниям, эта мысль выражена очень просто и ясно: там осмеливаются говорить прямо, что Пушкин свергнут с престола (detrone), – кем? неужели "Северною пчелою"?

Нет! это уже слишком!.. как? Пушкин, эта радость России, наша народная слава, Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете, – Пушкин, один человек, на которого сама "Северная пчела" с гордостью укажет на вопрос иностранца о нашей литературе, Пушкин разжалован из поэтов "Северной пчелой"? – Кого же, господа, скажите, Бога для, вы сыскали на его место: творца Выжигиных, Александра Анфимовича Орлова⁴ или барона Брамбеуса?* – Но

* Псевдоним Сенковского⁵, принадлежащего тогда к партии "Северной пчелы". Размолвка между друзьями и соотчиками последовала позже. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

негодование полное, невольно возбуждаемое во всяком русском сердце при таком известии, исчезает, когда вы дойдете до причины, приведенной "Северной пчелой" такому несчастью. Знаете ли, отчего Пушкин перестал быть поэтом? Рецензент, пишущий под вдохновением "Северной пчелы", в своей младенческой душе отыскал лишь следующую причину: "Пушкин уже больше не поэт, потому что издает журнал".

Было бы смешно возражать на такое обвинение, было бы обидно для читателей, если бы мы стали вспоминать, что Карамзин и Жуковский, Шиллер и Гете были журналистами; мы оставим в покое невинность рецензента "Северной пчелы", но обратимся к его учителям или к тем людям, которые лучше должны понимать: отчего Пушкин издает то, что вы называете журналом*.

Многим было неприятно это известие; нектоб до того простер свою пронизательность, что разобрал "Современник" прежде его появления и написал целую статью о программе этого журнала, когда этой программы не существовало. Все это понятно; но скажите откровенно, кто виноват в этом? Кто виноват, если Пушкин принужден был издать особую книжку свое собрание отдельных статей о разных предметах? – Не кажется ли вам это горьким упреком? **

Если кто-нибудь в нашей литературе имеет право на голос, то это, без сомнения, Пушкин. Все дает ему это право, и его поэтический талант, и пронизательность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконные познания большей части наших журналистов, – ибо Пушкин не останавливался на своем пути, господа, как то случается часто с

* Враги Пушкина называли беспрестанно "Современник" журналом – неспроста; здесь было указание цензуре на то, что Пушкин делает нечто недозволенное, ибо "Современник" был разрешен ему как сборник, а не как журнал. В настоящее время все эти проделки непонятны, но тогда могли иметь весьма важное и неприятное для издателя значение. Тогдашняя "Северная пчела", вообще весьма теперь любопытная, вся наполнена такими штучками. Поляки крепко стояли друг за друга. Вновь появившаяся в недавнее время странная мысль о превосходстве какого-то польского шляхетского просвещения над русским постоянно проводилась уже тогда в разных видах. Тогдашняя цензура не обратила на это внимания, и издания вроде "Северной пчелы" считались тогда самыми благонамеренными. Такой взгляд цензуры давал этим изданиям возможность сколь возможно чернить все русское, и в особенности писателей, не принадлежавших к польской партии. Недаром поляков воспитывали иезуиты. Дерзость и ослепление простиралась до того, что было предпринято издание нового словаря русского языка, где вводились в примеры полонизмы и варваризмы Сенковского. Первый выпуск с введением был отпечатан и пущен в публику. Такая штучка никого не удивила. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

** В "Северной пчеле" (1836 г., К 127–129) был помещен крайне неблагоприятный разбор 1-й кн. "Современника"; разбирал Булгарин. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

нашими литераторами: он, как Гете и Шиллер, умеет читать, трудиться и думать; он – поэт – в стихах и бенедиктинец в своем кабинете; ни одно из таинств науки им не забыто, – и – счастливцев! – он умеет освещать обширную массу познаний своим поэтическим ясновидением! – Ему ли не иметь голоса в нашей литературе?

Но где бы он нашел место для своего голоса? Укажите? Не там ли, где

каждая ошибка великого человека принимается как подарок, с восхищением? Или там, где посредственность, преклоняющаяся перед литературными монополистами, возносится до небес, а имена Шеллингов, Шампольонов и Гаммеров⁷ произносятся лишь для насмешки? Или там, где попираются ногами все живые, все возвышающие душу человека мысли и где на их место ставится вялый, безмысленный скептицизм, даже не поддерживаемый поэтическим юмором? – Или там, где в продолжение целого года не найдешь ни одной строчки, над которою бы можно было остановиться? Или где нравы лучшего образованного общества осмеиваются людьми, которые не бывали и в передней? Или там, где, кажется, существует постоянный заговор против всякой бескорыстной мысли, против каждого благодетельного открытия? Или там, где не знающие русского языка хотят ввести для него свои законы и объявляют себя переправщиками⁸ всей русской и иностранной литературы? Или там, где пышные похвалы суть следствия домашней сделки для продажи собственных произведений? Или там, где творец "Выжигина" ставится наряду с Вальтером Скоттом? Или там, где путешествие на Медвежий остров⁹ ставится наряду с "Фаустом" и выше "Манфреда"?*

* Здесь идет речь о нелепых и невежественных статьях Сенковского, которым Булгарин писал самые восторженные похвалы и сравнивал Сенковского с Гете и Байроном. Булгарина же ставили в ряд с Вальтер Скоттом. Сенковский, плохо зная русский язык и беспрестанно употребляя полонизмы, хотел уверить, что он открыл новые законы русского языка. За это, однако ж, ему досталось от Н. И. Греча, который хотя и был одним из издателей "Северной пчелы", но держал себя поодаль от ее литературных дрызгов и далеко не одобрял хвастливой заносчивости поляков, захвативших тогда в руки почти все журналы и пользовавшихся особым покровительством, несмотря на всеобщее негодование. Многие были вполне убеждены, что все погибнет, если у городских застав снимут шлахбаумы (о сем тогда уже шла речь), а равно если будет дозволена политическая газета кому-либо, кроме Булгарина или Сенковского. Невообразимо, сколько было употреблено тонкости для уничтожения "Телеграфа". Один глубокомысленный господин¹⁰, и не без веса, громко говорил, что лучше монополия в руках людей, с которыми нечего церемониться, чем распространение журналов; а между тем именно в привилегированных журналах и проводилось враждебное России польское направление, которого результаты оказались лишь впоследствии. В одной статье "Библиотеки для чтения" прямо доказывалось, что козаки были не что иное, как хлопья польской шляхты, и это, при неимоверной строгости во всех других отношениях, спокойно пропускалось. Вообще эта эпоха невежественного и вредного польского диктаторства в нашей литературе и журналистике, ныне едва понятная, весьма любопытна и поучительна. Она ждет своего историка наравне с эпохой Магницкого, Рунича и Фотия¹¹. Собственно, для польско-журнальной эпохи материалы готовы – в журналах того времени, начиная с появления "Телеграфа" Полевого и бури, им поднятой в польском гнезде. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Такое ли направление Пушкин должен поддерживать своим именем? Тщетные замыслы! Они не удадутся – плачьте и рвитесь, преследуйте поэта камнями: они обратятся на вас же... – Ни одна строка Пушкина не освятит страниц, на которых печатается во всеуслышание то, что противно его литературной и ученой совести. – Да что вам и нужды до этого; печатайте, издавайте, никто вам не мешает; вы имеете свой круг читателей, людей, которые вам удивляются, свои алтари, довольствуйтесь ими – книга Пушкина не отобьет у вас читателей: он не искусен в книжной торговле, это не его дело – его дело: показать хоть потомству изданием своего, – даже <хоть бы> дурного журнала, – что он не участвовал в той гнусной монополии, в которой для многих заключается литература. Этот долг на него налагается его званием поэта, его званием первого русского писателя.

Переходя от частного случая к общему состоянию нашей литературы, нельзя не пожалеть и не подивиться, по какой причине никто другой из известных наших литераторов, пользующихся всеобщим уважением, которым их таланты, благонамеренность и образованность давали бы полное право на доверенность читателей, не издают такой ежедневной газеты, какова "Северная пчела"? В этом была бы выгода для самой "Северной пчелы"; имея рядом с

собой соперника, владеющего одинаковым оружием, она была бы осторожнее в своих мнениях, осмотрительнее в выборе статей, и незрелые, ошибочные, а иногда (кто без греха?) и страстями внушенные суждения о литературных произведениях не сбивали бы с толку простодушных читателей. Когда будет конец этому литературному диктаторству? Потребность читать распространяется с каждым днем все более и более, а читать нечего. Вообразите себе литературные мнения человека, который читает одну "Северную пчелу"! Между тем "Северная пчела" есть единственная у нас литературная газета. Вообразите себе этот хаос противоречий, самохвальства, пристрастных мнений, незнания самых обыкновенных вещей в науках и искусствах, за который читатели платят ежегодно, может быть, до 200 000 рублей. Если бы "Северная пчела" была даже отличною, ученою газетою, то и тогда для читателей вредно было бы всякой день слушать одного и того же критика, и решительно можно сказать, что до тех пор у нас не будет той благодетельной критики, которую некогда установил в Германии Лессинг¹², которая очистила дорогу для Шиллера и Гете, которая способствует утверждению ясных понятий в науках и чистого вкуса в искусствах, пока у нас не будет по крайней мере двух или трех литературно-критических газет. Кажется, требование не велико. В сем случае укор всех благонамеренных людей падает на всех тех наших умных, ученых и благомыслящих литераторов, которые видят в литературе самобытную цель, а не средство для коммерции.

<ПУШКИН>

Пушкин! - произнесите это имя в кругу художников, постигающих все величие искусства, в толпе простолюдинов, в толпе людей, которые никогда его сами не читали, но слышали его стихи от других - и это имя везде произведет какое-то электрическое потрясение. Отчего его кончина была семейною скорбью для целой России, отчего милость царская сиротам поэта была подарком для всякого русского сердца; нетленным алмазом в нетленном венце русского государя? - Что сделал Пушкин? изобрел ли он молотильню, новые берда¹ для суконной фабрики, или другое новое средство для обогащения, доставил ли вам какие удобства в вещественной жизни? Нет, рука поэта оставляла другим делателям подвиги на сем поприще - отчего же имя его нам родное, более народное, возбуждает больше сочувствия, нежели все делатели на других поприщах, теснее соединенных с житейскими выгодами каждого из нас.

Я не буду отвечать на эти вопросы. В царских чертогах есть многоценная картина Рафаэля², она не велика, холста на нее употреблено мало, несколько гранов краски и только - но эта картина куплена огромной ценою, - но эта картина приковывает ваши взоры, она вносит в душу ряд высоких неизъяснимых ощущений, она разверзает в самой глубине души мир, до того не достижимый простолюдину, при взгляде на нее утихают порочные страсти, невольное благоговение как бы неистощимым пламенем облекает все чувства души, вы невольно чувствуете в сердце стремление к добру, в уме рождается ряд высоких мыслей, которые отвлекают вас от жизненной грязи, от мелочей жизни, от душной земли, разверзает в душе новое, до того для вас непонятное небо. Как и отчего производит это магическое действие кусок полотна, пиитическое произведение, гармония музыкальной трубы - того не перескажет вам человеческое слово; это одна из тех тайн, на которой останавливается естествоиспытатель при виде жизни, зарождающейся в зерне растения, при виде силы, которая в человеческом организме соединяет все разнородные, противоположные друг другу стихии. Тщетны же усилия тех, которые хотят на человеческий язык перевести жизнь поэта, остановить каждое мгновение его жизни, дать ему форму, найти ее значение, как тщетны донныне все усилия естествоиспытателей заметить минуту, когда появляется первый отросток из прозябающего зерна.

Однажды, пред тою картиною, о которой мы говорили, остановилась толпа любопытных. Из толпы раздавались восклицания: прекрасно, превосходно, божественно! Один между зрителями рассказывал о времени, когда написана картина, о манере Рафаэля в этом периоде его художественной жизни, о размере картины, о гравюрах, с нее сделанных, о красках, которые употреблял живописец, о том, что было об ней писано, кому она принадлежала, за сколько

куплена, даже, кажется, о том, сколько пошло на нее холста. Некоторые слушали его с вниманием, но большая часть не внимала ему, иные даже досадовали на рассказчика, зачем он прозаической речью нарушает их безмятежное, сладкое созерцание. Другой стоял в отдалении от картины, устремив на нее свои взоры: спрашивали его мнения – он молчал и не сводил глаз с картины – в этом состоял весь ответ его.

Так бывает со всеми великими произведениями искусства, так бывает с величайшим произведением естественного художества – поэтом. Есть люди, которые любят разбирать по частям жизнь художника, отгадывать, зачем он избрал тот или другой предмет, зачем он не избрал такой именно, – но большее число мало обращают внимания на эти обстоятельства, сводящие поэта на степень обыкновенного человека, они безотчетно любят великим художником, ибо он говорит им тем языком, которого нельзя передать словами, он беседует с теми силами, которые углублены в безднах души, которые человек иногда сам в себе не ощущает, но которые поэт ему должен высказать, чтобы он их понял. Те, которые знакомы с сими глубинами, в этом случае поступают подобно толпе, они благоговеют и безмолвствуют.

Много писали о Пушкине, но еще больше читали его; много желчи слабоумие, и легкомыслие, и коварство примешивали в сосуд его славы – но обратитесь к кому бы то ни было – одно имя Пушкина, и произведен ряд высоких ощущений, в которых не одно чувство народной гордости, но и чувство поэзии; спросите того же самого человека отдать вам отчет в действии, производимом на вас его произведениями, он в ответ вам скажет лишь одно слово: "прекрасно!" – слово глубокое, когда вылетает из глубины сердца.

Это сочувствие, этот род безотчетного обожания, производимые в людях художником или поэтом, есть явление важное, и чем безотчетнее это чувство, тем предмет его должен быть возвышеннее; это род религиозного акта, совершаемого душою в своем неприступном святилище. Вы легко отдадите себе отчет в назначении, в употреблении ремесленного произведения, домашней утвари, над растением вы уже задумаетесь, человека уже растолковать себе не умеете, что же найдете сказать о высшем произведении высшего на земле события³ – о художественном деле?

Исследовать, оценивать художников сделалось привычкою в нашем веке; целые книги написаны о том, чтобы растолковать, почему изящное в таком-то произведении действительно изящно. Не вижу большой пользы в таких исследованиях. Кто не открыл в душе своей тех объятий, которые жаждут художественного поцелуя, – для того эти исследования не понятны. Собирайте ошибки, заблуждения поэта есть византийский педантизм; думать, что можно кому-либо писать по образцу поэта, – есть ребячество, в которое могли впасть лишь французы. Куда привело их изучение великих образцов? *l'etude des grands maitres*? К тому, что всякая девственная сила уже невозможна на этом языке, в его растленных буквах не вмещается никакая высокая мысль и, сказанная на этом языке, кажется пустою фразою.

Пред великим художником важно и полезно лишь одно чувство: благоговение? Приступайте к нему с сердцем девственным, – не мудрствуя лукаво. Не дерзайте у него спрашивать, почему он так сделал, а не иначе. Спросите об этом у самого себя? и если можете отвечать на сей вопрос, то благодарите Бога, что он открыл вам важную тайну своего творения. – Такого рода чувство в особенности полезно для вас самих, ибо оно возводит вашу душу на высшую степень; оно полезно и для ваших читателей, потому что силою сочувствия может также возвысить и их душу не по словам вашим, – но по собственному ее процессу, которому вы дали только закваску.

В споре за Бахчисарайский фонтан⁴, с одной стороны <был> холодный скептицизм, с другой – горячее, неподдельное чувство; первый не мог уронить пиитического произведения по той же причине, почему скептицизм не может заглушить веры, последнее не могло защитить творение по той же причине, почему скептицизм не опровергаем, ибо не имеет ничего существенного.

Знаю, как озлобят эти слова виновников в сем так называемом ими падении Пушкина, но мы уже потомство, а потомство чинит суд правый и каждому воздает по делам его.

Посвящение

Часто, в те грустные минуты, когда, теряя веру в самого себя, упрекаешь себя в излишней деятельности, или, теряя веру в других, упрекаешь себя в недеятельности, когда бумага вертится под пером и мысли беспрестанно переходят от одного предмета к другому с неуловимой быстротой, ты являешься передо мной с своим вопрошающим взором, с своею насмешливою улыбкою. Ты спрашиваешь меня: что такое была наша литература? и где была наша литература? Ты перебираешь наши критики, истории, даже, если угодно, чтения о словесности, думаешь найти в них историю этой литературы, находишь в них сотни имен с разного рода эпитетами и еще раз спрашиваешь: что же такое наша литература? и, к досаде моей, прибавляешь обидный вопрос: была ли у нас литература?

Ты не понимаешь нас, мой милый праправнук, – не мудрено: мы сами себя не понимаем.

Но делать нечего! Чтоб удовлетворить твоему любопытству, я оставляю тебе все, что мне в разные времена приходило в голову при этом странном вопросе: "Есть ли у нас литература? и где наша литература?" Тетрадь мою читай с почтением, которым ты обязан своему прапрадедушке; не смейся, – мы и без тебя довольно над собою посмеялись, – и не принимай моих мыслей за общее мнение. Так думал твой прапрадедушка, вот и все; ошибался он или нет, – это ты узнаешь лучше нашего.

Плакун Горемыкин, титулярный советник в отставке.

Глава I

Мне бы очень хотелось узнать достоверно: неужли до сих пор существуют добродушные люди, которые в самом деле, не притворяясь, думают, что критика служит к очищению вкуса, к направлению авторов, и проч. и проч. В Европе еще спорят о сущности изящного, – у нас еще и не спорят; там нет еще порядочной эстетики, – у нас еще, между теориями, даже порядочной азбуки; а между тем критика существует и там и здесь; да еще какая критика! в старинном смысле, как применение законов изящного к произведениям, как судилище вкуса, как оценка дарований... Но, сказать правду, нигде так не смешна эта критика, как в нашей так называемой русской литературе. Действительно, можно ли удержаться от смеха, читая в большей части наших так называемых журналов наших так называемых критиков, которые с важностью обращаются к так называемым читателям и уверяют их, что такая-то книга не заслуживает их просвещенного внимания? можно ли удержаться от смеха, читая, как автор книги оскорбляется таким суждением и простодушно спрашивает "неужли критики пишутся для удовлетворения мелочной зависти, а не для указания недостатков?"...

Если бы мой голос мог раздаться во все концы мира, я сказал бы европейским критикам: "Пока чувство изящного не будет переведено на язык разума, пока не будет выражено словами – воздержитесь!" Я сказал бы так называемым нашим критикам: "Пока мы, и особенно вы, порядочно не поучились – воздержитесь!"

Прошу тебя, мой любезный праправнук, не почитать слов моих просто насмешкою над моими собратиями по письмоводству (иначе не знаю, как назвать нашу литературу) и не относить моих слов к тем немногим исключениям из общего правила, которые сделали бы честь всякой литературе), но которые не составляют литературы.

Отлагая всякое чувство патриотизма в сторону, я думаю, что нет ни одной литературы интереснее русской, и вот почему: кто не знает знаменитого произведения Рафаэля – "Афинской школы"2? но, может быть, немногие неживописцы обращали внимание на предуготовительные очерки (études) сей картины; это отдельные, несвязные группы, иногда подражание Перуджино3, иногда антикам; здесь фигура наклонена, там поднята; здесь свернута, там развернута драпировка; здесь на одном туловище нарисованы три разные головы, там еще не окончена и половина фигуры, – словом, это попытки прекрасные, но которые были б нам непонятны, если бы мы не знали развившейся из них картины. Что, если бы кто взялся разбирать картину прежде, нежели она была написана? стал бы называть некоторые из сих очерков

совершеннейшим произведением художества, про другие говорить, что они показывают совершенное отсутствие таланта?..

В таком положении находится наша литература; она любопытна как приготовление к какой-то русской, до сих пор нам непонятной литературе, – непонятной тем более, что Россия юна, свежа, когда все вокруг ее устарело и одряхло. Мы новые люди посреди старого века; мы вчера родились, хотя и знаем все, что было до нашего рождения; мы дети с опытностью старца, но все дети: явление небывалое в летописях мира, которое делает невозможными все исторические исчисления и решительно сбивает с толка всех европейских умников, принимавшихся судить нас по другим! Что же делать, господа! Мы ни на кого не похожи и для нас нет данных, по которым бы, как в математическом уравнении, можно было определить наше неизвестное. Россия живет еще в героическом веке; ее рапсоды еще не являлись. Мы еще предметы для поэзии, а не поэты. В такую историческую минуту народа – трудно судить о его литературе, ибо литература есть последняя степень развития народа: это духовное завещание, которое оставляет народ, приближающийся ко гробу, чтоб не совсем исчезнуть с лица земли.

От этого нынче у нас нет и быть не может людей, исключительно посвящающих себя искусству. Да и когда нам? нам некогда! Оттого у нас считается литератором тот, кто напишет пару стихов, пару романов, переведет водевиль или хорошо переводит газетные известия – точно так же; как в наших деревнях, кто умеет читать по складам, называется грамотным. Что в старых землях умеет делать всякий образованный человек, то у нас оценивается как произведение художника; тысяча первый английский турист, тысяча первый доцент, разъезжающий по провинциям для чтения того, чего набрался у других, был бы у нас не только литератором, но еще известным литератором, и, чего доброго, претендовал бы на диктаторство в нашей литературе! Есть люди, которые пишут даже краткие и пространные истории нашей литературы, как будто она имеет какой-нибудь характер, какую-нибудь самобытность и как будто все, что мы можем назвать литературой, не суть занятия в свободное время двух-трех человек с талантом. Мы смеемся над Клапротом⁴, который написал грамматику лезгинцев и кабардинцев, – пошлите туда некоторых из наших журналистов, они и там отыщут для себя место в истории литературы.

Исторический период, в котором мы находимся, производит еще особенную черту в нашей литературе: подражание. Наш народный характер, наша государственная жизнь, место, занимаемое нами на земном шаре, – все это так огромно, так полно силы и поэзии, что не может вместиться в литературу; оттого мы пропускаем себя мимо и глядим лишь на других. Это скромное чувство подражание так далеко у нас простерлось, что иностранцы принялись уверять, будто бы мы лишены всякого творчества. Некоторые, хотя немногие, произведения нашего времени дойдут и до тебя, мой любезный праправнук, и тогда ты увидишь несправедливость этого осуждения. Нет! мы не лишены творчества; оно, напротив, сильнее у нас, нежели у других народов, но оно в зародыше; нашей литературе (за немногими исключениями), как я сказал выше, недостает отличительного характера, физиономии. Ты узнаешь немецкую страницу по глубокомыслию, английскую по юмору, французскую по остроумию – по каким признакам ты угадаешь русскую страницу?.. Ты улыбаешься, любезный праправнук, потому что ты видишь в русской странице соединение всего того, что разменено для других народов на мелкую монету; ты видишь ясно, что наше мнимое подражание было только школою, вышедши из которой, мы перегнали учителей. Но это видишь ты, а не мы; для нас многие, весьма многие русские страницы богаты лишь отрицательными признаками.

От этого нет у нас сочувствия между жизнью и литературой; литературные вопросы, распри, открытия – все это не касается до нелитераторов; даже иной и литератор разделяется на две половины, из которых одна смеется над другою; что делается в литературе, того не знают в свете. Что делается в свете, о том не знает литература; в гостиной постыдишься сказать ту мысль, от которой поутру вспрыгнешь на стуле; гостиное происшествие, которое, развиваясь, может изменить все светские условия, сокрыто от литератора; к чему он готовится ежедневно, того избегает в свете; что пишется в наших книгах, то в книгах и остается; между наукою, и жизнью, между литературой и жизнью, между поэзией и жизнью – целая бездна. И каждая половина развилась своим особым образом и получила свои законы, свои условия, свой язык, и между тем обе живут вместе, как два расстроенные

инструмента у глухих музыкантов – знай играют! Оттого и слышится такая чудная гармония, что хоть вон беги. Подите, растолкуйте им, что литература и жизнь, как в порядочном доме кабинет и гостиная – две необходимые вещи в бытии человечества, что одна не может быть без другой; отделить совершенно литературу от его жизни и его жизнь от литературы все равно, что в дождливую ночь вынести фонарь без свечи или свечу без фонаря. Поставьте, господа, свечку в фонарь! Покройте, господа, фонарем свечку!.. Нечего насмехаться над теми, которые бы хотели навести мост над бездною! Ведь мы приближаемся – знаете, к чему? Мы приближаемся к исторической древности; мы приближаемся к ней по той же причине, почему поэт в минуту сильнейшего развития своей организации находит в душе своей чувства младенца! А воскресите Платона: скажите, что он не должен выезжать на площадь или ораторствовать у Латы, – он засмеется, как наши потомки будут смеяться над нашею двуличневою жизнью, как мы смеемся над теми веками, когда ученые запирались в монастыри, когда ученые почитали за стыд писать на другом языке, кроме латинского... Впрочем, далеко еще до этого времени – далеко! и этому есть преважная причина: наши гостиные – род Китая. Говорят, в этом чудном царстве этикет так хорошо устроен, что богдыхан не может сделать никакого ни в чем улучшения потому только, что все минуты его жизни заранее рассчитаны по церемониалу. В наших гостиных существует подобный церемониал: он состоит не в том только, как думают наши описатели нравов, чтоб беспрестанно кланяться, шаркать, ощипываться, доказывать, что вы не человек, а франт, – нет, существует другой церемониал, для меня, по крайней мере, самый тягостный и который я почитаю главным препятствием совершенствования гостиных, – это обязанность говорить беспрерывно и только о некотором известном числе предметов; далее этого круга не смейте выходить, – вас не поймут. Ничто на свете не может сравниться с этим терзанием. Вы огорчены, в голове у вас бродит поэтическое видение, на вас просто нашел столбняк, – нет нужды! вы должны говорить; вы должны выжать разговор из кенкета⁵, из партии виста, из листа, бумаги, не более... Тут будь хоть Гете или Гумбольдт⁶ – не вытерпишь, изговоришься и скажешь плоскость; и самому стыдно, и совестно, и досадно, а еще растягиваешь ее, вертишь ее во все стороны, как червяка под микроскопом, и все говоришь, говоришь... Этот проклятый церемониал забежал к нам из французских гостиных; французу хорошо – у него разговор вещь совершенно посторонняя, внешняя, как вязальный чулок; у него все под руками: и спицы, и нитки, и петли; заведет механику в языке, и пойдет работа, говорит об одном, думает о другом, спрашивает одно, отвечает другое. Такая механика не по нашему духу; мы полуазиатцы, мы понимаем наслаждение в продолжение нескольких часов сидеть друг против друга, курить трубку и не говорить лучше ни слова, нежели нести всякий вздор о предметах, которые вас не занимают.

А что же делает литература, чтобы приблизиться к обществу? О, многое! Во-первых, у нас есть нравоописатели, которых не пускают и в переднюю они очень любят нападать на высшее общество. У нас есть критики, которые ждут не дождутся чего-нибудь оригинального в литературе, чтоб унижить, уронить произведение, которое не похоже на другие; вообще отличительный характер наших так называемых критиков и сатириков – попадать редко и метить всегда мимо. Наша литература тянется вровень с землею, а они жалуются, что наши авторы заносятся слишком высоко; мы кое-как, с грехом пополам щечимся вокруг словарей – а нам ставят в упрек излишнюю ученость; два, три человека зашептало о шеллинговой, о гегелевой философии; иные проговорили слово об агрономии, – а у нас уже пишут повести, комедии, в которых выводятся на сцену философы, агрономы-нововводители, как будто это было характерною чертою в нашем обществе! Между тем в обществе действительно делается характеристическою чертою совершенное равнодушие к русской поэзии, к русскому театру, к движению русской науки; вместе с произведениями иноземцев вносятся к нам мысли, чуждые нашему духу, и бесчувствие в цветном, красивом наряде, и болтовня народов-стариков, отживших свой век и потерявших всю веру в достоинство человека. Здесь толкуют о тех добрых людях, которые стараются у нас подкопать великое честное литературное предприятие; там читают все, от Виктора Гюго до Поль де Кока, и не читали ни Лажечникова, ни Вельтмана⁷; там спорят о танцовщицах и не видали Щепкина, Каратыгина⁸! И вся эта чужеземная смесь тянет книзу и топит эту бесценную

проницательность, смьшленность и сметливость, которыми провидение свьше одарило русского человека, приготовляя его быть первым человеком в мире науки и искусства... Эти черты остаются для наших сатириков неприкосновенными, а если и попадают в их книги, то в таком превратном и жалком виде, что общество и не знает, о чем идет дело!

Впрочем, виновато ли общество? С некоторого времени некоторые имена, некоторые литературные происшествия - все в каком-то тумане стало доходить до общества. Но чем мы щеголяем пред ним?.. О! ты не поверишь, мой любезный праправнук.

Лучшие из наших литераторов благородно приносили в жертву службе свою литературную жизнь, свою литературную славу, свои минуты вдохновения; словом, все счастье своего бытия. Это благородное самопожертвование отдалило их от той деятельности, которою живет литература народа. Ты знаешь, что у подножия всякой старой литературы есть особый класс промышленников, которые для простолюдинов меняют на мелочь чужие мысли; они пользуются всякими случайностями общественной жизни, пишут книги на случай или сшивают из старых чужих лоскутьев, продают их, - и более своей торговли ни о чем не заботятся; этих промышленников в Европе никто не знает; имена их потеряны в истории литературы, и они не умеют даже произносить своего имени. С нашей же литературой случилось то же, что с домом Крылова⁹:

Хозяева еще в него не вобрались,
А мыши уж давным-давно в нем завелись.

На месте истинных литераторов у нас, как будто в старой литературе, явились литературные поставщики, и, на безлюдье, с претензиями на литераторство. Чего вам угодно? Роман - сейчас изготовим; историю - сейчас выкроем; драму - сейчас сошьем. Только не спрашивайте у нас ни литературного призвания, ни таланта, ни учености; а книги есть. Другие поставщики, а иногда они же сами, пишут об этих книгах, хвалят их; у них есть и журналы, и критики, и партии, - все, что угодно, как будто в настоящей литературе; даже имена некоторых из сих господ получают какую-то странную известность. Когда я смотрю на эту чудовищную, противоестественную литературу, то, кажется, вижу собрание ящиков в книжных переплетах: тут есть и история, и роман, и драма; посмотришь внутри - один сор... Между тем, эта литература живет своею противоестественною жизнью. Когда обществу вздумается наклониться и спросить: да где же литераторы? - поставщики очень смело выставляют свои головы и отвечают: "мы за них". Общество присматривается, замечает на месте литературы лишь промысел, лишь желание нажиться деньгами - и одна часть общества проходит мимо с отвращением, другая верит этим господам и за фальшивую монету платит настоящими деньгами, - а этим проказникам только то и надо!

Но это бы еще хорошо: пускай наживаются! вот что дурно: при большем развитии народной жизни некоторые люди сделались вполне литераторами, и с полным правом на это почетное звание. Они принялись за дело, им по праву принадлежащее; но поставщики испугались: что, если литераторы отобьют у них хлеб? куда им деваться? на что они способны? нельзя ли удержаться на своем теплом местечке? как это сделать? нас знают - давай кричать, давай чернить честных людей, давай унижать их таланты! Подымается крик, гам, изводятся на свет разные маленькие гадости - общество удивляется и спрашивает: "неужели так кричат литераторы?" и снова проходит с отвращением; оно не может отличить голос честный от торгового; оно не в силах понять, кого должно поддержать на этом базаре; оно не знает того, что, поддержав честную сторону, оно навек уничтожит все выдумки литературной поставки! По естественному отвращению оно желает лучше не быть зрителем этой бесславной борьбы - и часто, часто благородное предприятие погибает только оттого, что негодяи закидывают его грязью!..

Все это тебе кажется смешно и странно, любезный праправнук! Счастливец!..

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Химики и другие естествоиспытатели имеют обыкновение вести журнал при

своих опытах; в такой журнал они вносят все замеченное ими в продолжение явления, иногда подробно, иногда одним только указанием. Естественно, в сих замечаниях встречаются неполнота, ошибки, противоречия, но в том и польза сих заметок, ибо едва ли ошибки и заблуждения не столь же подвинули вперед науку, сколь и удачные опыты; часто в ошибке, в противоречии заключается прозрение в такую глубину, которой не достигает правильный, по-видимому, опыт; без заблуждений алхимиков не существовала бы химия; Ломоносов справедливо заметил, что неосторожность Рихмана¹, приблизившегося во время грозы к громоотводу, была прямым опытом, доказавшим тожество между молнией и электричеством; слишком неудачный опыт привел Дюлона к открытию странного тела, известного под названием хлористого азота, которому, кажется, суждено играть некогда важную роль в химических приложениях. Каждый из нас ежедневно и невольно производит подобные опыты над своею душою – при собственном ли ее на себя воздействовании, при встрече ли с внешними предметами. Вот журнал, веденный в продолжение многочисленных психологических процессов; может быть, он когда-нибудь пригодится на что-либо будущему духоиспытателю.

Есть слова, которые мы часто употребляем, не обращая внимания на их глубокое значение; мы говорим: "Это противно внутреннему чувству, этим возмущается человечество, этому сердце отказывается верить". Какое чувство породило эти выражения? Оно не есть следствие рассуждений, не есть следствие воспитания, – одним словом, не есть следствие разума. Вы видите казнь преступника; разум убеждает вас, что она необходима, но было бы противно внутреннему чувству не скорбеть о нем. Разум уверяет вас, что вы должны умерщвлять своего противника в пылу сражения, – но спросите самого храброго воина, что ощущает он, проходя по полю битвы после сражения? Ведь эти раны были необходимы, эти страдания суть необходимое следствие правой битвы, отчего же его сердце трепещет, отчего дрожь проходит по его телу, отчего его человечество возмущается? Отчего иногда, как самое сердце ваше поражено какой-либо страстью, и рассудок уверяет вас, что вы можете предаться ей безопасно, но еще какое-то внутреннее чувство вас удерживает?

Говорят: следствие понятий, полученных при воспитании. У индийского владельца рождаются дети, они каждый день видят, что негры не люди, что их можно сечь ежеминутно; они привыкли к этому, но вдруг в одном из детей возбуждается жалость к сим несчастным. Откуда взялось это чувство?

Следственно, есть в человеке нечто такое, что не подходит ни под одно из школьных подразделений души, что не есть ни совесть, ни сердце, ни страсть, ни рассудок и что мы назовем условно, не зная лучшего выражения, нравственным инстинктом, однако же не в смысле Гутчесона².

В сем нравственном инстинкте, кажется, лежит основание всех наших знаний и чувствований; он отнюдь не одинаков у всех людей; всякий имеет его в разной степени; ближайшие степени понимают друг друга, отдаленные не понимают; мы нашими знаниями и действиями должны бы развить это чувство, но мы не замечаем его в чаду внешних предметов; мы следуем указаниям страстей, расчетов, систем. К сему чувству должен обращаться ученый, а тем более поэт; ученый, обращающийся к сему чувству, поэтизирует науку, поэт делается предвещателем. Может быть, если бы люди, сбросив с себя оковы всех своих мнений, предались сему нравственному инстинкту, тогда бы они, как разные звуки, могли составить общую гармонию; может быть, оттого тщетно мы хотим построить наши Науки, Искусство, Общество, что не хотим знать этого естественного камертона. Может быть, человек знал его и удалился от него или, лучше сказать, развивая другие свои способности, оставил нравственный инстинкт в забвении. Может быть, так и надлежало: может быть, существует порядок, в коем постепенно должны были развиваться силы человека; до времен И. Христа инстинкт был совершенно забыт; его появление современно земному странствованию Спасителя. Сие направление отразилось в изменении древних кровожадных и преступных систем, в возвышении искусства музыки на степень духовную и предпочтительно пред пластическими искусствами. (Различие между музыкой древней и новой. Различие в понятиях о древней языческой и христианской добродетели).

Нравственный инстинкт требует развития, как всякая другая сила человека; удивляются, отчего поэзия ныне ослабевает в действии своем на общество? Но есть ли у нас особое воспитание для поэтов? Общество образует чиновников, воинов, правоведов, ремесленников – но для поэта нет воспитания. Душа его не сохраняется в той независимой чистоте, которая может нас довести до высшего развития нравственного инстинкта; есть такие ощущения в душе человека, которые действуют на всю душу симпатически и как бы отнимают у нее одну или две из сфер ее деятельности, как капля опиума, принятая в желудок, дает превратное действие мозговым органам. Человек, однажды заразившийся известною болезнью, сохраняет ее на всю жизнь и даже передает детям. Высокую мысль имел Шиллер, представив в Жанне д'Арк³ силу пророчества, исчезающую от одного земного взгляда. Где же поэту у нас прожить безгрешно? Где он может достигнуть до своей самобытности? Поэтический дух в нем действует; но, не проникая до самого себя, поэт выражает чувства, возбужденные в нем природою, возбужденные выражением чувства других людей, себя, этого святилища человечества, он не выражает. Вместо звания действителя он носит звание воспринимателя. Его поэтический дух преломляется о все, его окружающее, и мы видим одни косвенные лучи его. Недаром у многих народов поэты составляли особенную касту или соединяли свое звание со званием жрецов.

Человеку должно знать не одно прошедшее, забывая о настоящем; равным образом ему не должно знать одного будущего, забывая о настоящем. Знание и сообразование с одним прошедшим ввергает человека в летаргию; знание и сообразование с одним будущим ведет к беспредметной деятельности и, следовательно, вредной, ибо вред в некотором смысле есть не что иное, как следствие деятельности, направленной к цели, отдаленной от настоящего момента. Представитель прошедшего есть наука, представитель будущего – поэзия; представитель настоящего – безотчетное верование. Без сего ощущения человек не решился бы сделать ни шага, ни вымолвить слова; оно действует независимо от его воли, иногда в одежде науки или поэзии, но оно одно дает значение и характер науке и поэзии данной эпохи. Посему одна из главных причин каждого действия человека есть такое ощущение, которое ему вовсе не понятно. Это ощущение соединяет для него прошедшее и будущее в один момент, который однако же не есть ни прошедшее, ни будущее. Из сего открывается необходимость для человека сознавать себя в настоящую минуту, знать свой возраст и положение – и по сему образовать для себя свою науку и свое искусство. Тогда, когда каждый индивидуум будет знать звук, который он должен издавать в общей гармонии, тогда только будет гармония. Разумеется, наука может быть пиитическою, т. е. предугадывать будущее, поэзия может быть ученою, т. е. восстанавливать прошедшее (Шекспир, Данте); но верование всегда останется представительницею текущего времени; может быть, лишь сим путем человек может постигнуть сигнатуру того момента, в котором находится человечество в системе миров, где есть свои времена года, свои весна, лето и осень.

В Хили⁴ (Memorial Encyclopedique, 1834, К 2) открыли следы города, носящего признаки образованности, не могшей существовать между туземцами. Вопрос, какие были это народы? – может быть, не столько любопытен, сколько следующий: как потерялась образованность этого народа, потерялась так, что даже не осталось ни одного памятника, который бы о нем свидетельствовал? Может быть, на этот вопрос можно отвечать, только представив себе, что бы случилось (и что может случиться) с Европой, если бы только одна наука, одно образование разума завладело ею. Спрашивается: неужели во время падения этих народов не являлись люди, одаренные силою духа, могшие остановить их над пропастью. Были, но или голос их проповедовал в пустыне, или, оскорбленные всем виденным, они углублялись в самих себя, оставляя людей их собственной участи, или, наконец, измученные тщетным борением,

умирали, не дойдя до половины пути жизни, так что им почти физически невозможен был этот преступный воздух для дыхания. Горе тому народу, где рано умирают люди высокого духа и живут долго нечестивцы! Это термометр, который показывает падение народа. Пророки умолкают!

Одно материальное просвещение, образование одного рассудка, одного расчета, без всякого внимания к инстинктуальному, невольному побуждению сердца, словом, одна наука без чувства религиозной любви может достигнуть высшей степени развития. Но, развившись в одном эгоистическом направлении, беспрестанно удовлетворяя потребностям человека, предупреждая все его физические желания, она растлит его плоть победит дух (сего-то и боится религия); мало-помалу погружаясь в телесные наслаждения, человек забудет о том, что произвело их; пройдет напрасно время, в которое бы человек должен был двинуться далее; но в природе не даром летит это время; природа, покорная (без свободной воли) вышним судьбам, совершит путь свой и вдруг явится человеку с новыми, неожиданными им силами, пересилит его и погребет его под развалинами его старого обветшалого здания! Такова причина гибели стольких познаний, которыми древние превышали новейших. Так будет и с нами, если религиозное чувство бескорыстной любви не соединится с нашим просвещением.

Так погибла мудрость народов безымянных, мудрость индийская, египетская, греческая, римская! Тщетно мы берем себе в образец мудрость древних. Очарование, произведенное древними рукописями в средние века, много остановило успехи человечества; оно заставило его жить умом прошедшего вместо того, чтобы жить умом будущего. Против сей-то тщеславной мудрости восставало христианство, сию-то мудрость неверие XVIII века противопоставило христианству. Едва ли и XIX веку суждено освободиться от оков прошедшего, от его детского платья, в котором связаны все его движения. Если со вниманием рассмотреть все несчастья нынешнего общества, то найдем, что основанием каждого из них есть какая-нибудь мысль древней мудрости, от ветхости времени опростонародившаяся. Если перенести героев древних во всей их полноте в наше время, они были бы величайшими злодеями, а наши преступники были бы героями древности.

Предметы истины, сказал некто, имеющие цель естественную, в продолжение времени совершенствуются, а не искажаются, и чем более для них прошло времени, тем с большею силою должны развиваться их красота, величие и простота - или, лучше сказать, тем ближе они должны находиться к чистым и живым законам той первой идеи, которую должны выражать все существа, каждое на своей степени. С этой-то точки зрения должно смотреть на науки и искусства, дабы видеть, которые из них на прямом пути, которые совратились.

Посмотрим же, какие знания могли быть у древних; я говорю не о тех знаниях, о которых сведения сохранились для нас в отрывках греков и римлян, не о тех, о которых воспоминание сохранилось в так называемых баснословных преданиях древности.

Уже давно истребилось мнение, что иносказания были выдумкой стихотворцев; иные думали в них видеть оболочку искусства, земледелия (Курт Жебелин⁵); иные ближе были к истине, отыскивая в иносказаниях сокровеннейшие тайны физической части вселенной (Пернетти и другие герметические философы). Но все эти объяснения противны законам ума человеческого. Возможно ли высшими предметами прикрывать низшие? Брать божество, человека для прикрытия посева грубых семян или* метаморфоза минералов. Мы всегда облакаем лишь самые отвлеченные понятия в чувствен-

* В подлиннике: "их". (Прим. ред.)

ную оболочку для того, чтобы их сделать осязаемыми, - мы духовному придаем вещественный образ; так должно было быть и в древних иносказаниях, сохранившихся у всех народов, разделенных далекими пространствами и между тем всегда в главных положениях, сходных между собою.

Что всего яснее видим мы в сих иносказаниях? Божество, снисходящее в человека, человека, возвышенного до степени божества, - словом, необычайную, непонятную нам силу человека. Здесь титаны, воюющие с небом;

здесь Сатурн, отец богов, царствующий на земле; Прометей, похищающий божественный огонь; каким образом могли бы войти в голову человека все эти индосказания о подобной силе человека, если бы действительные предания не скрывались под ними? С ослаблением инстинктуальной силы усиливалась рациональная. Пока не укрепилась сия последняя, человечество жило произведениями своей инстинктуальной силы; знание о сатур-новом кольце прежде телескопа, эластическое стекло – суть остатки сих инстинктуальных знаний; велики были они, и в сем смысле древние знали больше нашего. Ослабевая постепенно, инстинкт исчез совершенно в конце древнего мира, и рассудок, оставленный самому себе, мог произвести лишь синкретизм; дальше сего он не мог идти; род бы человеческий погиб, как погибли безымянные народы, если бы в то же время не возбудился новый инстинкт человека. Тогда инстинкт был привит к грубому произведению природы, теперь – к человеку, развившемуся во внешность силою собственной воли, тогда к сомнамбулу, ныне к бодрствующему. Раннее прядение шелка из паутины шелковых червей в восточной Азии предполагает высокую образованность, там некогда существовавшую. Вообразите себе все ступени, которые должно было пройти для того, чтобы заметить этих червей, уметь их воспитывать, приготавливать кокон, потом вообразить, что их паутина может образоваться в нить. Это остаток, свидетельствующий о многоразличных знаниях.

Есть лета в жизни человека, в продолжение которых он живет, что говорится, наудалую, делает, что ему на ум взбредет, не спит по ночам, предаётся всем порывам страстей, не брежет ни о своем спокойствии, ни о здоровье – и между тем все ему сходит с рук; он и здоров, и бодр; желудок его варит, он деятелен, даже как будто и все дела его ему лучше удаются, по крайней мере он все потери переносит с большой беззаботностью; такой человек живет настоящим и не думает о будущем, и так может он прожить лет до 30-ти или до 40-ка, смотря по его организации. С 5-м десятком здоровье его начинает расстраиваться, деятельность и бодрость его уменьшаются, уменьшается с тем вместе и вера в самого себя – и оттого перестают для него удачи. В это время он должен жить уже искусственной жизнью, он не может уже приобретать здоровья, но, пользуясь своею прежнею опытностью, лишь поддерживает его; его друзья, помнившие его прежнюю силу и потому верившие в него, один за другим умирают – ему надобно одному лавировать между скалами жизни; сокровище знаний делается ему недоступным, а может, он только вспоминает о них; если же он в продолжение своего возвышающегося периода расстроил свое тело и душу, наполнил тело семенами болезней, душу растлил до вещества, сердца не облагородил терпимостью и любовью к людям – грехи его скопляются над ним, как грозная туча, вянет его ум, терзается тело, скушает сердце – и он или быстрее погибает, или незаметно доходит до последней степени унижения.

То же бывает и с народом – если во время своего возвышающегося периода он презрел просвещение, если его сердце не проникнуто истинною религиею и погрязло в неверии, суеверии, фанатизме; если вместо того, чтобы все минуты силы своей употребить на собрание сокровищ ума, на победу над окружающею его природою, он провел время силы в бесплодных прениях и интригах честолюбия, если, увлеченный блеском славы, он презрел святую христианскую любовь к человечеству, его грехи скопляются над ним в грозную тучу; наступит время бессилия; не приготовленный прежнею жизнью, развращенный самолюбием, изржавленный невежеством, он ничего не будет в силах противопоставить другим, свежим народам, выступающим на поприще жизни, ничего противу сил природы, ежеминутно готовых разразить человека, не постигнувшего ее таинства, народ слабеет, дряхлеет – и незначущий удар стирает его с лица земли.

Причина падения народов не в одних политических происшествиях, но в нем самом, в том роде жизни, который он сам для себя избрал.

В человеческом организме осталось как бы воспоминание о его инстинктуальной жизни: младенец, едва родившийся, бросается на материнскую грудь; мы имеем сны, предчувствия, симпатию и антипатию; мы совершаем

разные действия невольно, по причинам, нам неизвестным. Долго было непонятно, отчего простолудин, желая придать себе храбрости, заносит руку за ухо, отчего мы, желая что-либо вспомнить, трем себе лоб. Галлевы замечания⁷ об органах до некоторой степени пояснили эти странные и непонятные явления; невольное чувство, которое заставляло нас смотреть с участием на больного, держать его руки, голову, – обратилось в магнетизм, в действительное лекарство; то, что делалось инстинктуально, то теперь делается с сознанием; так должно быть во всех отраслях знания; мы должны объяснить себе все явления инстинктуальные, что мы знаем посредством инстинкта, обратить в знание ума, и все знания ума поверить инстинктом.

Первая вера человека (не в религиозном смысле) была безотчетное верование в свой инстинкт; для сего состояния почти нет выражения в нынешней эпохе человечества, ибо такое состояние должно было иметь и свою особую форму, как каждый народ имеет свой язык, – подобное сему состоянию замечается в сомнамбулах. В сей эпохе человечества оно должно было иметь и суждение, но которое ограничивалось (модифицировалось) общим состоянием, как звук сограничивается характером той гаммы, в которой вы его взяли. Сии минуты прошли для человечества, как проходит состояние сомнамбула: от его состояния ему не остается воспоминаний, так и в человечестве от того времени не осталось памятников, человек должен в поте лица отыскивать то, что он понимал инстинктом.

Инстинктуальное чувство может развиваться в человеке и теперь посредством уединения, размышления, повторения одних и тех же предметов, однообразия оных; как, например, жизнь в одной и той же комнате может более или менее развивать это чувство, которого низшее явление есть сомнамбулизм с его разными подразделениями. Жители гор, самую природу уединенные от мира, например, горные шотландцы, нежели приморские, имеющие всегда однообразный предмет перед глазами, имеют более склонности к магнетическим явлениям. Помавание руками при магнетических манипуляциях, круговращательное движение, в которое приводят себя танцующие квакеры, дервиши, дабы прийти в восторженное состояние, наши обыкновенные сновидения – все это имеет одно основание: уединить человека от окружающих его предметов, так сказать, утушить его чувства, привести их в опьянение, дабы дать полную силу внутреннему чувству. Таким образом, ныне сии две силы, хотя существуют вместе, но так разделены, что для разума инстинкт есть бред, для инстинкта разум есть нечто вещественное, грубое, земное.

Это явление, во всей простоте своей замечаемое в словах сомнамбулов о людях, находящихся в бдении, и людей в бдении о сомнамбулах, в бесконечных формах повторяется во всем. Все споры между людьми имеют начало в этом основном раздоре.

Подобие того, что было с человечеством, мы видим вокруг себя в природе; это цепь бесконечных действий и противодействий; это пульс, бьющийся во всей природе, начиная от души человека до последней пылинки. Каждое действие возбуждает противодействие тогда, когда достигло полноты своей. Но посреди сих огромных биений пульса в человеке и в природе происходят малые биения, или действия и противодействия; таковы в человеке физические отправления, голод, жажда, извержение; в природе явления метеорологические. Сии делятся еще на меньшие реакции – и так до бесконечности! Удивляются, что в новое время так часты биения пульса; они были и в древности, но время стерло следы их, оставя только признаки биения больших циклов.

В младенце нынешнем не может развиваться инстинктуальное знание до совершенства, ибо мы живем в век изысканий; общим характером периода сограничивается характер каждого неделимого. Но все заметна инстинктуальная сила в младенце, и это доказывается тем, что дети скорее взрослых (изыскательная эпоха неделимого совпадает с изыскательною эпохою общего для всего человечества периода) подвергаются магнетическому состоянию.

Ребенок редко ошибается. Его ум и сердце еще не испорчены.

Могли быть два периода образования: 1-е у жрецов, 2-е в человечестве. Оно могло достигнуть у первых до высшей степени совершенства, но человечество должно было начинать снова; может быть, мы и не дошли до той точки, на которой остановились древние мистерии, которые сами собою должны были прекратиться, когда познания стали выходить из святилища.

Говорили, что зло есть отсутствие добра, как холод – отсутствие тепла; но если вы, отнимая теплоту у тела, делаете его холодным, то это означает, что холод не есть нечто несуществующее, но, напротив, естественное состояние тела.

Весьма недавно некоторые мыслители осмеливались по какому-то невольному движению, и движению безотчетному, недоказанному, сказать, что цель науки есть сама наука, а вещественная польза есть ее второстепенное следствие; доньше цель науки находят лишь в последнем; так думали и при восстановлении наук и в варварские веки после Р. Хр. – и действительно, наука в нынешнем ее состоянии может иметь целью лишь вещественную пользу; значение высшей пользы ей придано произвольно, оно должно совершиться лишь в будущем. В этом нынешнем значении мы и понимаем слово наука.

Кислота и щелочь суть символы действия и воздействия в истории – по соединению переходящие одно в другое таким образом, что в жидкости уже есть щелочь, а она оказывает еще кислотное действие.

Что понимают под словом дух времени? Новые мысли вырастают из организации человечества, как разные части растения из семени; все дерево заключается в семени, но может развиваться только со временем; естественное развитие той или иной мысли в организме есть, кажется, то, что называют духом времени. Выражение весьма замечательное, – к сожалению, искаженное страстями.

Высоко, трогательно раскаяние грешника; но еще возвышеннее смирение великого человека, который после совершения великого дела упрекает себя, зачем не совершил большего.

То, что теперь книгопечатание и письмена, то в древности должно было быть простое изустное сообщение мыслей. Против сего рода выражений должны были существовать такие же обвинения, как против письмен и против книгопечатания.

Сказать, что существуют пределы для духа человеческого, может только тот, для кого не существует этих пределов.

Лишь тот имеет право сказать, что многое не дано знать человеку, кто все знает.

Утверждающие, что должно заниматься одними опытными, непосредственно полезными знаниями, и в доказательство приводящие в пример различные открытия, имевшие огромное влияние на судьбу человечества, забывают, что собственно ни одно открытие не сделано опытными знаниями и не могло быть сделано ими. Лишь умозрительно осматривая царство науки и искусства, можно видеть, где и чего недостает ему, и обратить на то внимание, ибо в этом и состоит открытие. Эмпирик, переходя от песчинки к песчинке без всякой общей мысли, может сделать открытие лишь в сфере песчинок, – и наоборот, чем

больше сфера, тем обширнее открытие.

Нападают на веру в какую-либо систему за то, что она отклоняет ум от другого рода изысканий; но разве не часто бесплодны изыскания без системы, изыскания на случай? 100 на 1 вероятности, что человек скорее найдет истину, руководствуясь какою-либо мыслию, нежели блуждающий наудачу, самая ложная карта - уже пособие для мореходца; она может навести его и на мели - это правда, но все вероятнее, что ему легче ее поправить и найти на истинный путь, нежели тому, кому нечего исправлять, для кого невозможно поверить предполагаемое, повторить найденное; и действительно, все открытия одолжены своим началом людям, привыкшим к умозрению; мысль, брошенная на землю великим мыслителем, поднималась ремесленником, который из нее обтачивал себе новое пособие.

Чудная понятливость русского народа, возвышенная умозрительными науками, могла бы произвести чудеса.

Напрасно думают, что умозрительные знания не нужны в практической жизни и что одни эмпирические знания для сего пригодны. Когда между XVIII-м - XIX-м веком химики открыли сродство между телами, то посредством трудных и продолжительных опытов составили таблицы сего сродства, на основании сих таблиц были заведены фабрики, но на практике открылось противное; процессы на фабриках не соответствовали таблицам, выведенным из точных опытов, и большая часть из фабрик упали; долго не понимали причин этого явления, пока, наконец, не открылось, что степень сродства тел не есть постоянная, но изменяющаяся различными обстоятельствами. Если бы химики, составлявшие таблицы сии, обратили внимание на Платоновы мысли, чисто умозрительные, то, может быть, пришло бы им в голову, что не одна частная сила действует в каком-либо явлении, но общая, не покоряющаяся частным, не имели бы такого доверия к частным опытам, не основали бы на них фабрик, и фабрики бы не упали, к стыду науки.

Все умозрительные системы суть произведения инстинктуальной силы, или самопобуждения, все эмпирические - разума. Совершеннейшая система (о чем недавно догадались) должна быть соединением того и другого; такая система есть высшая философия и вместе высшая поэзия; она в настоящую эпоху еще недостижима; но мы имеем в ней нужду - и оттого поэзия так успокаивает дух наш, оттого поэзия, как говорят, миротворительница; она есть предвестник того состояния человечества, когда все недоразумения и споры прекратятся и человечество перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым. Совершенствование не бесконечно, но бесконечны наслаждения совершенства.

Умозрительные системы почти всегда религиозны, эмпирические никогда.

Можно неверующим дать, так сказать, ощупать возможность соединения духовного с вещественным посредством следующего соображения: мысль моя бесконечна, неудержима, в одно мгновение пробегает далекие пространства и века - эта самая мысль сжимается в слово, наконец, в писаную речь, которая есть вещество, занимающее пространство, и может быть истреблена.

Причина, отчего науки задерживаются ныне на такой жалкой и безжизненной точке, зависит, может быть, от того, что эмпирики решительно не хотят признать никакой системы в природе, никакого числового порядка; для них природа - ряд бессвязных цифр: 3, 1, 5, 4 и т. д. Напротив, умозрители ищут везде симметрии и разлагают всю природу в геометрическую пропорцию, как 1, 2, 4, 8. Но существенный порядок в природе, как основные числа математики, есть, может быть, прогрессия арифметическая, и предметы различаются между собою как 1, 2, 3, 4, 5, 6 и проч. Может быть, тем и увлекательны умозрительные теории в своих началах, что первые два члена в

обеих прогрессиях одинаковы; за их пределом начинается раздор между теорией и природой..

Отчего мы не можем произвести ни одного органического вещества? Не оттого ли, что, развертывая все свои силы, оставляем в бездействии ту, которая дает жизнь? Это явление однозначно со всеми человеческими действиями: составляют общества механически, без жизни, пишут безжизненные творения. Высшая органическая сила забыта – сей недостаток замечается во всем. Эта сила истинна, проста, находится в глубине души; кто не проникал в сию глубину, тот производит механически, а механически можно сделать только автомата.

Какого добра ожидать от нашей нравственности, когда с младенчества в сказках, баснях, прописях учат нас во всем держаться середины, рассчитывая каждый свой шаг, не доверять никому, кроме своего рассудка, удаляться от всего, что не принято всеми, не предпринимать ничего без положительной, так называемой полезной, цели.

Бывало, люди говорили: это противно религии, это противно законам и проч.; теперь говорят просто: это неприлично. Если бы в старину кто, защищая свое домашнее неустройство, вздумал сослаться на всеми уважаемый авторитет, ему бы тогда возражали тем, что он или неверно цитирует, или что он не понимает авторитета. Теперь ему просто скажут, что его сравнение неприлично. Чувство приличия, неизвестное древним, сделалось ныне действительною стихией в общественной жизни человечества. Сие чувство, с одной стороны, показывает глубокий скептицизм нашего века, с другой, что есть, однако же, нечто, чему мы верим, т. е. что уважаем, не отдавая себе отчета. Может быть, самый скептицизм не есть ли приуготовление, зародыш новых начал. Может быть, если бы развить это чувство приличия, т. е. перевести его на определенный язык, мы бы составили ряд предметов верования нашего века. Любопытно было бы тогда исследовать, какой новый скептицизм восстановит человечество против сих новых начал, ибо характер всякого начала в минуту своего развития, в минуту своего перевода на язык обыкновенный возбуждает противодействие. Это испытали все языческие религии; их опаснейшая оппозиция начиналась всегда в веках, ознаменованных их полным могуществом.

Напрасно иные боятся дурных мыслей; всего чаще общество больно не этим недугом, но отсутствием всяких мыслей и особенно чувств.

Всего чаще приходится встречать в обществе следующее заблуждение: человека обвиняют, вы его защищаете, на вас нападают, как на защитника преступлений, когда вы только защитник обвиняемого.

В народах замечается два направления: одно христианское, или живое, движущееся, другое языческое, или варварское, неподвижное. Язычество, или варварство, может быть на всех степенях народного образования: отличительный признак варварства, или язычества, – это жертвы, приносимые ежедневно физическим нуждам человека; отличительный признак христианства – это жертвы, приносимые духовным потребностям человека. Дикий убивает человека для того, чтобы его съесть; рыцарь средних веков грабит своего соседа, чтобы воспользоваться его именем; удельный князь уничтожает царственную власть перед пятой баскака; англичанин заставляет ребенка работать 20 часов в сутки для своей наживы; француз разрушает древнее здание, чтобы обратить его в фабрику (Курьев в своих памфлетах хвалит такое превращение); Сумарика, первый мексиканский епископ, сжигает большую часть мексиканских рукописей, с которыми мы потеряли надежду понять древность сего любопытного народа. Все это одно и то же варварство на разных степенях образования.

В мире физическом царствуют внутренние законы природы, в мире нравственном – хотение человека. Оттого цель человечества в своих произведениях достигнет той же неизменяемости, которая замечается в природе.

Может быть, изобретение букв в самом деле есть вредное изобретение для человека, или, как думал один древний писатель, человек с тех пор начал забывать мысли, как вверил их знакам. Но это могло быть справедливо лишь до книгопечатания; действительно, ныне автор не имеет времени воспользоваться мыслями, которые он сам произвел, напитаться ими, как пчелы медом, ими производимым; едва он вверил их бумаге, как забыл о них – в голове его рождаются новые; но зато первые уже действуют не на одного и того же человека, но на целые круги людей, и в каждом они могут получать особенное развитие и породить новые наблюдения и открытия.

Во всех отраслях произведений ума человеческого есть произведения центральные, которые знать необходимо всякому образующему себя человеку; это сочинения, в которых вы найдете зародыши всех после бывших открытий; таковы в разных отраслях человеческой деятельности Гете, Биша, Гердер⁹, Шеллинг и проч. Кто их прочел со вниманием, тот, верно, сам невольно вывел из них множество новых, светлых мыслей; потом, встречая их в других писателях, он удивлялся, находя в них свои мысли, тогда как и его и их мысли были только продолжения мыслей-зародышей. Может быть, возможно предсказывать, какие и в каком порядке и у кого такие-то мысли разовьют такой-то ряд суждений. Это бы должно быть истинною целию журналов.

Доказательством тому, что ни одна человеческая мысль, достигшая до крайней степени своего развития, не может не сделаться нелепостью, могут служить глубокие слова Сократа: "Я знаю только то, что ничего не знаю". В наше время вывели из сего весьма точное заключение: "Если человек ничего не может знать, – говорят, – то ему лучше ничего не хотеть знать и ничему не учиться". Так мысль ученейшего и деятельнейшего человека своего времени сделалась оружием для невежества и праздности.

Может быть, нашлась бы возможность к составлению языка, понятного всем народам, в приложении математических форм к явлениям духа человеческого. Нельзя ли все стихии языка разложить по степеням коренным и производным? Так, например, местоимения "Я, ТЫ, ОН" могли бы быть выражены цифрами 1, 2, 3; "МЫ, ВЫ, ОНИ" – $1 + 1, 2 + 2, 3 + 3$. Нечетные числа могли бы выражать духовную сторону, четные физическую, разные изменения единицы выражать разные формы бытия, разные изменения десятков – разные формы действия; каждое из сих изменений могло бы также иметь приличную степень и потому также выражаться числом. Но для сего надлежало бы привести в совершенную, в безусловную систему все знания человечества; такой системы еще не существует.

Недалеко время, когда науки и искусство должны изменить свое значение. Рано или поздно опыт заставит человека отказаться от убеждения того странного фантома, которому дали название разума, рассудка и так далее; человек начинает замечать, что по несовершенству слова силлогизм есть не что иное, как умерщвление мысли; человек уже не в состоянии играть в ту игрушку, которая занимала древних софистов и схоластиков; он чувствует, что за силлогизмом существует нечто другое, что силлогизм не удовлетворяет души человеческой, не наполняет ее. Мы обманываем себя, когда думаем, что какое-либо доказательство вывели одним рассудком; при решении задачи на нас необходимо действовало и самопроизвольное побуждение; недостаточность языка человеческого способствует сему обману. Самые строгие доказательства науки производят на человека действие лишь тогда, когда душа его придет в

сочувствие с душою сочинителя; тогда только выражения его будут понятны читателю, ибо невыразимое в сочинителе найдет свое дополнение в читателе, читатель сам договорит недосказанное сочинителем. Но произвести сие чувство может одна поэзия; следственно, в наш век наука должна быть поэтической.

Но под каким условием поэзия, или искусство, могут существовать в наше время? Человек не верит и поэзии; вымысла для него недостаточно; "Илиада" ему скучна; он требует от поэзии того, что не находит в науке, — существенности, словом, науки; ныне поэзия, чтобы достигнуть своей цели — пробудить сочувствие в душе человека, должна встречать человека у порога его дома, заговорить с ним о его домашних горестях, о средствах поправить семейные обстоятельства, о том, что его окружает, — словом, о его индивидуальном счастье; для сего поэт должен знать все подробности человеческой жизни, начиная от познаний ума до последней физической нужды!

Словом, поэзия должна быть ученою, обнимать целый мир не в умозрении только, но в действительности: это инстинктуально понимают поэты нашего времени; они чувствуют, что в наше время поэт-невежда невозможен. Наше время есть приуготовление к новой форме души человеческой, где поэзия с наукой сольются в едино.

Человек должен окончить тем, чем он начал; он должен свои прежние инстинктуальные познания найти рациональным образом; словом, ум возвысить до инстинкта.

Религия производит то чувство, которого не может произвести ни наука, ни искусство и которое есть необходимое условие обеих: смирение; наука порождает гордость; гордость, самоуверенность необходима для науки; искусство презирает мир, что также необходимо для искусства; но если человек совершенно доволен собою, он не пойдет далее; надобно, чтобы на верхней ступени науки и искусства человек был еще недоволен собою — смирялся, тогда только ему возможны новые успехи.

Жиабатиста Жиойа¹⁰ сделал глубокомысленное замечание, сказавши, что никакое действие для человека невозможно без соединения трех условий: *il sapere, il volere, il potere*, т. е. для всякого действия человека необходимо знать, хотеть и мочь.

Но мы не можем знать, не изучая природы; мы не можем ни знать, ни хотеть предмета, если в душе нашей не предсуществует его значения, его сродства с нашей душой, устремляющих к нему наше знание; мы не можем ни знать, ни хотеть, ни мочь, т. е. иметь силу, если мы не верим нашему знанию, нашему хотению, нашей силе. Так тесно соединены сии три элемента.

Когда сии элементы не в соразмерности, общество страдает, как страдает несоразмерный организм животного.

Замечено, что всегда рождение бывает пропорционально со смертностью; таким образом, в годы повальных болезней число рождающихся увеличивается и, что всего страннее, самое число свадеб; природа силится удержать равновесие в своих произведениях и как бы нашептывает человеку: "Множься, множься", — голос, который человек принимает за собственное побуждение. Мы знаем между тем, что чем многочисленнее порода, тем ниже ее значение в природе, тем слабее она, тем недолговечнее, что, например, в растительном царстве в годы больших урожаев плоды бывают менее душисты, мельче, менее сочны. Как будто вся производительная сила природы разделяет с человеком свойство, производя много, т. е. с поспешностью, производить хуже. Известно, чем совершеннее животное, тем долее оно развивается и что количество бывает всегда на счет качества. Так должно происходить и при рождении людей. Следственно, чем больше болезней между людьми, тем впоследствии не только самые люди недолговечнее, но самое напряжение природы вознаграждать свою потерю должно увеличивать их худобу в нравственном и в физическом отношении; так просвещение, столь тесно соединенное с народным здоровьем, имеет и с сей стороны влияние на самую нравственность людей.

Всякая система требует доверенности; в системе синтетической вы должны доверять точности общих формул, их безусловности; в системе аналитической вы должны верить, что все частные явления исчислены, что сочинитель верно доходит до общих формул, что еще труднее. В системе синтетико-аналитической соединяются то и другое. При начале учения необходима доверенность к системе: в то мгновение, когда человек достигает высшей степени своего развития, т. е. начинает сам из глубины души своей развивать свой образ воззрения на предметы, необходимо знание, т. е. такое воззрение на предметы, где человек смотрит своими глазами, действует собственной деятельностью, погруженный в самого себя, такое знание есть соединение науки с искусством, укрепленного верованием; сии три стихии связно находятся в душе человека, и в каждом действии нашей души мы замечаем это соединение: мы не можем изучить предмета, если бы не верили в его существование; мы бы не могли изучить его, если бы не могли его себе выразить хотя приблизительно - и, что важнее всего, если бы прототип сего предмета не находился в душе нашей.

Когда умолкнут похвалы языческой мудрости и добродетели! У греков и римлян подкидывание и убийство младенцев в известных случаях не только дозволено, но даже предписано законом. Cicer "De leg". L. III. c. 8. Svet in Ost. c 65. Senec. L. V. c 33.

Вскоре после того, как Деви открыл свою предохранительную лампу для рудников каменного угля, работники так привыкли к безопасности, ею доставляемой, что в случае темноты отворяли ее, и тогда, разумеется, бывали взрывы; замечено даже, что взрывы стали случаться чаще, нежели до употребления лампы, ибо прежде взрывы бывали случайные, но ныне работники безопасно входили, когда рудники и были наполнены водоуглеродным газом, а выходили только тогда, когда пламень лампы, расширяясь, был близок к тому, чтоб раскалить железную проволоку. Явление замечательное в психологическом отношении; оно показывает, что одной вещественной науки недостаточно для предохранения человека от природы.

Различные вещества, находящиеся в земле, в ее произведениях, в ее атмосфере, разлагают стихийные вещества человеческого тела и, следовательно, химически с ним соединяясь, нейтрализуются и превращаются в новые средние вещества, Ясно, что чем менее людей, тем сильнее на них действуют атмосферные вещества, где более - там слабее, ибо оные разделяются на большее число и скорее нейтрализуются, следовательно, делаются безвреднее; наоборот: сие число людей должно иметь свои границы, ибо, например, в спертном воздухе уже не одни атмосферные тела, а стихии самого человека действуют на нас, и человек вредит человеку. Из сего бы можно вывести новые понятия о народонаселении.

Удивительно, как опыт, который многими еще так высоко ценится, не научил своих защитников, что со времен потопа не было собственно ни одного совершенно чистого, ни совершенно верного опыта, что все важнейшие открытия сделаны вследствие неверных опытов: Колумб открыл Америку, отыскивая на основании опытов того времени Индию; химик Рихтер¹¹ открыл важный закон пресыщаемости, опираясь в своих вычислениях на такое химическое соединение, которого вовсе не существует.

Выражение относится к мысли и чувству, как дробь к единице; выражение никогда не может вполне достигнуть целости чувства или мысли. Мы по выражению не узнаем мысль, но только угадываем ее, дополняя собственным чувством то, чего недостает выражению; на этом основывается так называемая симпатия между автором и читателем. Между искусствами существует такое дополнение, которое не имеет определенного образа, которое имеет способность применяться ко всякому выражению, и это дополнение есть музыка;

отсюда ее чудное действие в театре и пр. Из сего можно заключить, что музыка есть истинное выражение внутреннего чувства нашего и ближайшее к нему, нежели очертание и слово.

Одна мысль, одно слово, как искра, может зародить в голове целый поэтический план, часто совершенно отдаленный от своего первого зародыша. Редко это происходит мгновенно; закинутая, в душе мысль лежит долго, зреет незаметно для вас самих и вдруг, совсем неожиданно, является почти во всей полноте пред вами; иногда, преследуя развитие сей мысли, вы дойдете до какой-либо мысли или даже слова, прочитанного или слышанного, и отдаленного от вашей мысли бесчисленными рядами, проходящими сквозь разные миры.

Многие писатели, желая расцвести, оживить свое произведение, кидаются в метафоры; от сего происходит только бомбаст¹². Естественно, человек употребляет метафору, когда для новых мыслей и чувств у него недостает выражений; желая как-нибудь дать тело своему внутреннему ощущению, он собирает разные предметы природы по закону сродства ее с духом человеческим. От сего у народов мало просвещенных и особенно у находящихся на первой точке просвещения, т. е. когда человека поражают новые мысли, но он еще не отдал себе в них отчета, язык всегда метафорический. Наоборот, много метафор и у людей, желающих выразить мысль новую, девственную; чем глубже и, следовательно, чем яснее эта мысль, тем труднее ее выразить. В обоих случаях недостаточен язык обыкновенный.

Часто сетуют на сочинителя за то, что его сочинение не довольно понятно; но есть творение, которое всех других непостижимее, – вселенная.

Мы часто думаем, что во сне видим большие нелепости; при большем внимании нельзя не заметить, что сии нелепости суть большею частью лишь несообразности с нашими обыкновенными понятиями; так, например, часто во сне представляются соединения предметов, по-видимому, невозможные, но имеющие некоторое основание. Я видел однажды некоторое существо, которое было соединением смерти, темноты и минорного аккорда; по пробуждении выразить словами возможность этого соединения нельзя, но во сне оно было понятно и имело имя. Следовательно, есть возможность для совершенно других понятий, какие мы имеем в здешней жизни, и есть для сих понятий язык, нам не известный. Существуют соединения предметов, совершенно отличные от тех, кои мы знали, и если они представляются нам хотя в одной из форм нашего бытия, например во сне, то, след<ственно>, они в нас существуют, след<ственно>, мы можем открыть их, и при внимательном наблюдении они бы должны были пролить совсем другой свет на природу. Жаль, что мы не замечаем сих представлений сна: они во сне должны продолжаться непрерывно; жаль, что мы не изучаем законов того особого мира, в который мы переходим во время сна: мы забываем сию особую форму нашего бытия и из представлений сна помним только то, что ближе к миру нашего бодрствования.

Нет предмета, который бы мы знали во всех подробностях; мы знаем некоторые его признаки; по сим признакам мы даем ему имя, или, лучше сказать, тем или другим словом мы выражаем лишь те или другие свойства предмета, его части, но не весь предмет. Это равно относится как к предметам природы, так и к предметам, находящимся в душе нашей. Следовательно, наш язык неполон или неверен, и мы обманываем самих себя, когда предмету даем имя, – его имя нам неизвестно.

Фантастическая сказка есть произведение воображения в похмелье. Море по колению; язык развязывается, все чувства, хранившиеся на дне души, старые и новые, зрелые и незрелые, – бьют пеною наружу. Можно человека угадать по одной фантастической сказке. Что же подумать о такой, например, мысли,

что было бы вредно, если бы порок уничтожился на свете, что если бы не было воров, то надсмотрщики и тюремщики умерли бы с голода; не было бы злых - судьям бы нечего делать, и проч. т. п.

Новые идеи могут приходиться в голову только тому, кто привык беспрестанно углубляться в самого себя, беспрестанно представлять перед собственным своим судилищем и оценивать все малейшие свои поступки, все обстоятельства жизни, все невольные свои побуждения; в сии минуты внезапно раскрываются перед ним новые миры идей. Такие открытия может делать всякий, и образованный и невежда, с тою разницею, что сей последний откроет чаще то, что уже до него было открыто, но ему неизвестно. Следственно, и по сей причине необходимо образование поэту, т. е. ему необходимо знать то, что другие знали, хоть для того, чтобы от известных идей шагнуть к новым; сим может быть разрешен вопрос, нужно ли образование поэту.

В жизни народа, как в жизни человека, существуют периоды энергии - это всем известно; но от воли человека зависит воспользоваться сими мгновениями силы, или убить их в сладострастии и пороках; когда сие время пройдет, тогда тщетны все усилия, дабы произвести, что было бы легким в минуты энергии.

Человек когда-то потерял весьма блистательную одежду; он должен возратить ее; может, для сего он переходит несколько степеней жизни; может быть, чего не достиг он в одной степени, то должен отыскивать в другой до тех пор, пока не дойдет до прежнего совершенства; тех метаморфоз, которые мы называем жизнью, может быть бесчисленное множество; это мгновения одной общей жизни - мгновения более долгие или более краткие, смотря по той степени совершенства, до которой достиг он; так что, может быть, если человек усвоил себе такие-то познания, развил в себе такие-то чувства, то он должен умереть, ибо истощил уже здешнюю жизнь в той сфере, которая ему предназначена.

Но поелику человек состоит из духа и души, то для достижения высшей степени потребно возвышение обоих: первого - познаниями, второй - любовью. Эстетическое образование есть нечто отдельное; это символическое преобразование той отдаленно-будущей жизни, которая будет полным соединением знания с любовью, соединение, которое было когда-то в человеке и потом разрознилось.

Минуты магического соединения науки, искусства и религии в жизни народов бывают всегда ознаменованы появлением великих произведений поэзии; для сих минут трудно, может быть невозможно отыскать математическую формулу, как то думали сен-симонисты. Это члены прогрессии, которые проходят, может быть, чрез все планеты солнечной системы; нам досталось несколько членов - и наше дело не столько отыскивать их последование, сколько угадать число каждого; но математик по нескольким членам прогрессии узнает их общее последование*.

Дым, вьющийся из труб и носящийся над городом, прекрасная поэтическая картина, но еще лучше, когда дыма не видно, когда хитростию искусства он весь обратился в горючий материал. Прекрасна деятельность народа, обращенная на внешнюю славу, но еще лучше, когда она обращена на внутреннее совершенствование.

Поэтическое произведение есть явление высочайшей гордости человеческого духа: человек присваивает себе право творить. Поэтический грех не есть грех общечеловеческий; он совершен вне мира и потому прощен

быть не может. Дурной поэт никогда не может исправиться, ни возбудить сострадания, подобно человеку просто несчастному и даже преступному.

Существенное различие между эпопеею и драмою может быть определено таким образом: в драме поэт совершенно отделен от действующих лиц; каждое из них должно существовать самобытно; характер каждого должен составлять особый мир, резко отличный от мира других характеров; в эпопее поэт – рассказчик; действующие лица характеризуются его собственным характером, нам интересны не столько сами лица, сколько то, как понимал их поэт; мы привлечены его точкою зрения, тогда как в драме мы сами становимся на сию точку. Это различие основывается на самой природе человека: мы или видим сами, или нам рассказывают; в первом случае мы скептики, мы судим сами; для рассказа же необходима вера в рассказчика. Сим, может быть, можно

* Достоин замечания, что планеты находятся от солнца в расстоянии, которое может быть выражено прогрессией 0, 3, 6, 12, 24, 48 и так далее, в которой каждый член множится на 2. Эта гармоническая прогрессия подала повод Кеплеру¹³ угадать, что между Марсом и Юпитером должна быть еще планета, что впоследствии оправдалось. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

объяснить, отчего в религиозные эпохи являются наиболее эпоеи; в скептические – драмы. Вальтер Скотт, явившийся в конце скептической эпохи, придал своим романам характер драматический. Вольтеру, не христианину, не удалась эпопея, как и всему его веку. Заря религиозного характера нашего века явилась в эпопеях Байрона. Из сего можно вывести необходимость заставлять каждое лицо в драме говорить особенным характеристическим языком – требование не столь важное в эпопее, несмотря на то, что драматические места ее должны подвергаться общему характеру драмы, поскольку они входят в эпопею.

Театр есть тот же мир, но мир поэтический, который приходит нам в голову в эти минуты сомнамбулизма, когда все нам нравится, все представляется в поэтическом образе, как при действии опиума; это, как и вся поэзия, есть вещественное представление нашего инстинктуального чувства; оттого здесь, возносясь в самую средину организма всеобщей жизни, мы услаждаемся видом самых страданий, мы силимся в поэзии представить то, что мы только понимаем в инстинктуальном чувстве, – общую гармонию; от сего – всеобщая страсть к театру. С этим падают все нелепые вопросы о пользе и вреде поэзии и театра.

На вопрос, каким образом поэзия должна соединяться с общественной жизнью, отвечать можно: "Сия связь столь таинственна, что ее нельзя выразить словами, как связь души с телом, как чутье американца; надобно быть американцем, чтобы понять это". Фориэль¹⁴ рассказывает про молодого грека, который, будучи нелюбим своею матерью, хотел оставить отчизну – и на расставаньи после обычного общего мириолога¹⁵ семейства запел импровизированную песню, в которой описал свое семейственное несчастье и разлуку с родиной: это так тронуло его мать, что она бросилась в его объятия и возвратила ему всю свою нежность. Вообразите себе теперь чиновника, который, отправляясь в дальний город на службу, запекает мириолог, – это будет смешно. В каждом народе, в каждом нраве поэзия должна сливаться с жизнью особенным образом, которого нельзя вычислить заранее.

Век поэзии миновался для прежних предметов поэтических; ныне никакой истинный талант не решится прославлять, а если и решится, то не успеет, торжество или битву сил материальных между собою, как, например, троян и греков; даже Наполеон, как олицетворение воина, – невозможен. Ныне предметом поэмы может быть лишь герой, побеждающий или сражающийся духовною силою.

Напыщенный, наурмяненный XVII век любил идиллическую поэзию, нежных пастушков и пастушек. Век грубого терроризма гонялся за придворным утонченным волокитством; наш коммерческий век – век расчета и сомнения – требует в литературе кровавых страстей и фанатизма. "Лукреция Воргия" 16 на сцене – и газеты, такие, которые наполняются известиями, например, о том, каким образом однажды поутру банкир Ротшильд, завертывая пакет, засунул куда-то сверток ассигнаций, – эти явления отвечают друг другу, они не могли случиться в разные века.

Поэт непременно должен заниматься естественными науками, иначе он обживется в своем идеальном мире и примется находить и в нем несовершенства по врожденной человеку привычке, врожденной ему для удобнейшего преследования природы. Но, поблуждавши несколько времени между разными гадостями материи в этом темном вертеле, наполненном мертвыми костями, оторванными жилами, гнилыми, сожженными трупами, который называют естественными науками, и побесившись вместе с другими, зачем он тут ничего не видит, с наслаждением он обращается в свою родную, идеальную страну, где все так просто, так понятно, так ясно!

Не мудрено, что Байрон возбудил столько негодования в опытной, расчетливой Англии. Он оскорбил все, что в ней почитается неприкосновенным, находясь в самом святилище. Аристократ, богатый – он осмелился быть поэтом, не довольствоваться обыкновенной и денежной жизнью; деньги, которые могли быть употреблены на выгодный оборот, истратил на поэтическое предприятие для Греции. Он знал все тайны эгоистической английской жизни, мог ими пользоваться – и презирал их. Велико было его преступление, и нельзя было его наказать ни аристократическою насмешкою, ни равнодушием богатого. Если бы Байрон сохранил еще семейственные связи, тогда бы злоба против него еще более увеличилась. Его ненависть к людям происходила от того, что он в коварном лицемере-торгаше видел человека. Этим объясняется странное противоречие между его поэтическим чувством, даже между желанием славы и его отвращением от людей.

Некто справедливо заметил, что смех в искусстве не требует просвещения, но слезы предполагают некоторую степень образования; оттого народная трагедия не могла ужиться в Риме, оттого в самой комедии благородный, тонкий Теренций¹⁷ не возбуждал участия, какое возбуждал Плавт своими площадными шутками. Достоин замечания, что русский простолюдин, несмотря на толки иностранцев о низкой степени его образования, больше любит трагедии, нежели комедии: так оригинальна организация этого народа. Что у древних греков было следствием, так сказать, роскоши образования, то в русском народе родилось естественно, поднялось из земли.

Пусть много недостатков иноземцы находят в русском народе, но им нельзя не согласиться, что есть нечто великое даже в его недостатках; например, мы любим бесполезное, тогда как другие корпят над расчетами пользы; мы метим кинуть тысячи для минуты, прожить жизнь в один день – это дурно в меркантильном отношении, но показывает нашу поэтическую организацию: мы еще юноши, а что было бы с юношею, если бы он с ранних пор предался страсти банкира!

Respectability* – у англичан значит 20000 ф<унтов> стерлингов; не во гнев нашим порицателям, у нас с большим основанием называют почтенным человеком статского советника.

В Англии застой, во Франции беспрестанный нервический припадок. Во

Франции совершенное отсутствие поэзии или разлад ее с религией и разлад религии с наукою. В Англии существуют и религия, и поэзия, и наука, но каждое существует отдельно, они не проникают друг друга; оттого в англичанах такое коммерческое отвращение ко всему поэтическому в жизни, нечто вроде известного канцелярского отвращения к тому же. Очень любопытны просьбы в парламент о соблюдении воскресенья, просьбы богатых купцов... боящихся, чтобы маленькие купцы по воскресеньям не переманили покупателей. (См. Бульвар18 об Англии.)

Ничто так не смиряет гордости человеческой, как мысль, что в XIX веке в землях христианских существуют люди, которых общество питает, воспитывает, образует, prepares к ремеслу, необходимому для существования общества, как-то: движение торговли, промышленности, банкирские обороты и проч. т. п. - и что имя этого ремесла в простейшем его значении есть желудок. Надобно же было сверх того, как будто для насмешки над благороднейшими чувствованиями человека, какому-то господину¹⁹ написать большую книгу под названием "Economie politique chretienne" **, в которой он очень ясно доказал, что один говорит одно, другой - другое, что же до него самого касается, то он ничего не говорит. А предмет любопытный!

* Порядочность, почтенность (англ.).

** "Христианская политическая экономия" (франц.).

Замечено, что на сумасшедших весьма действует - голые ли стены их окружают или с прекрасными пейзажами, слышат ли они музыку или нет, окружены ли они удобствами жизни или нет. Если на них действует все изящное, то таким же образом оно должно действовать и на всех, хотя и медленнее. Что в сумасшедших совершается явно, то в остальных людях скрытно; местоположение, постройка дома, звуки музыки - все это физически должно действовать на организацию человека и человечить ее, уничтожать ее скотские свойства.

Люди, которые не хотят, чтобы русские учились, и с сожалением вспоминают о невежестве предков, похожи на Жан-Жака, который хотел людей привести в натуральное состояние - ходить на четвереньках.

Поэт Софокл²⁰ был pontifex и военачальник, товарищ Перикла и Фукидида²¹, он защищал родину во время войны, управлял ею во время мира, служил ей как первосвященник, прославлял ее как поэт - это был золотой век Греции.

Понятно до некоторой степени, каким образом может исчезнуть с лица земли народ, по-видимому, носящий все признаки образованности, однако же не довольно просвещенный, т. е. не довольно богатый знаниями. Это может произойти: а) от недостатка знаний вообще; так, например, до открытия громоотводов здания могли быть жертвою пламени; сколько человек жизнью должны заплатить за ошибки медицины в стране, где анатомия почитается грехом. Известны разрушительные действия водяных столбов; известно также, что удачный выстрел из пушки уничтожает в одно мгновение сего страшного посетителя; вообразим себе страну, где порох не известен или где не известна физическая теория водяных столбов, или где суеверие воспрепятствует выстрелами встречать этого гостя, - и целые города могут быть разрушены, стерты с лица земли одним водяным столбом; оставшиеся жители обратятся в первобытное состояние, т. е. принуждены будут заботиться лишь о первых потребностях жизни; тут, разумеется, воспитание детей сделается невозможным - и, вопреки естественному ходу вещей, дети сделаются менее опытные отцов, их дети еще менее - ясно, что, наконец, их потомки могут дойти до совершенно дикого состояния, б) Оттого, что соседи опередят

в образованности. Таков, например, Китай, где, несмотря на все признаки образованности, науки остановились, и который, несмотря на свою наружную силу, легко может быть завоеван какою-нибудь европейскою артиллерийскою ротою, несмотря на своих тигров, обязанных хотя на четвереньках подсекать ноги у неприятельской конницы. Даже здесь не может спасти усовершенствование одного военного искусства, ибо все науки связаны между собою. Для усовершенствования военного искусства необходимы усовершенствования химии и механики; для усовершенствования мореплавания необходимо сверх того усовершенствование астрономии и математики вообще. Но усовершенствование математики вообще, астрономии, химии, механики невозможно без усовершенствования философии, а кто исчислит все, что нужно было для того, чтобы образовать Коперника, Лейбница и Ньютона? Им нужны были и богословие, и философия собственно, и естественные науки, и искусства.

Замечено, что два и несколько вместе живущих людей мало-помалу делают друг на друга похожими не только по духу, но и по телу; не только привычки их становятся одинаковыми, но во многих корпорациях заметно нечто общее даже в чертах лица. Как происходит история этого превращения? Дух одного человека действует на дух другого; они взаимно сограничивают (модифицируют) друг друга; в течение 7 лет, как известно, не остается в человеке ни одной части прежних органов; новые органы рождаются уже под влиянием сего нового изменения духа; чрез несколько времени, когда физические органы привыкнут образоваться под одним и тем же направлением, они в свою очередь действуют на дух точно так же, как удар в голову производит действие на ту или другую способность человека.

Древняя музыка и ее чудные действия суть остаток еще древнейшей - первобытного, естественного языка человеческого. Он был известен человеку инстинктуально - теперь он должен дойти до него образовательным способом.

Сочинитель романа "The last man"*22 думал описать последнюю эпоху мира - и описал только ту, которая началась через несколько лет после самого сочинителя. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привыч-

* "Последний человек" (англ.).

кою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предается внутреннему, свободному влечению души своей, - тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

Мысли развиваются из постепенной организации человеческого духа, как плодовые почки на дереве; иногда сии мысли противоположны; для жизни нужна борьба этих мыслей; люди, почитая их за свое произведение, называют их истинными законами природы, и человечество борется, умирает за них; между тем для жизни нужна была только одна борьба этих мыслей, а совсем не торжество той или другой: ей нужно было здесь определить какую-то отдельную цифру для уравнения, которое разрешается, может быть, в Сатурне. Оттого обыкновенно ни одно мнение решительно не торжествует, но торжествует только среднее между ними. И оттого вместе с тем такая сила и ревность в человеке для защиты того или другого мнения; ибо это суть мнения не его, и ему для защиты их дается не его сила.

Все убеждает нас в том, что человек должен жизнью, развившейся из него самого, дополнять жизнь естественную. Замечено, что люди жарких климатов живут менее обитающих в холодном, но, напротив, первые, переселяясь в страну холодную, а вторые в теплую (разумеется, когда еще в них жизненные силы не ослабли), бывают долговечнее; это весьма понятно. Природа человеку, родящемуся в жарком климате, как и другим своим произведениям, дает большую жизненную силу, дабы он мог воспротивиться разрушающим стихиям сего климата; в холодном климате сия сила как бы сжимается, не тратится столь быстро, и что человек теряет в наслаждениях, сих ступеньках к смерти, то выигрывает в продолжении своего существования. Напротив, человек холодного климата, перенесенный в жаркий, противится своею сохраненною организациею разрушительному жаркому климату, и он, если силою ума может воспротивиться обольстительным наслаждениям знойного пояса, то выигрывает выгоду, противоположную выгоде человека жаркого климата, — он быстроту жизненного огня останавливает холодом, другой же холод своей крови утишает окружающим его жаром; первый слабую свою организацию укрепляет холодом, второй крепость своей организации противопоставляет разрушению.

Я не понимаю правила тех людей, которые позволяют себе делать немного зла с целью из оного произвести добро. Долг христианина и внутреннее побуждение человека — делать добро, не входя в расчеты, что от него произойти может. Ссылаются на врачей, которые отсекают большой член для того, чтобы сохранить все тело! Но разве медицина не ошибается? А медицина легче для понятия человека, нежели многообразные общественные отношения, с коими мы имеем дело в продолжение нашего существования. Мы ни в коем случае не можем отвечать, что сделанное нами зло может обратиться в добро; это значит мешаться в судьбы Предвечного; мы можем знать только то, что сделанное добро все остается добром, хотя бы от него и произошли худые следствия. Сии следствия уже не в воле человека, он не виноват в них. Но чем оправдывает себя человек, сделавший зло с добрым намерением и произведший новое зло? Находились же люди, которые хотели оправдать Робеспьера тем, что гибель тысячи людей он считал средством для будущего благоденствия своего отечества! Произведение человека ограничено; одно чувство в нем не ограничено провидением — это любовь к человечеству.

Восстают против приличий, но они хранят общество; это сухая корка гнилого плода; распались она — воздух заразится. Снимите корку от этих людей; испытайте их сделать открытыми, явными!

Гиббон²³ сделал великое зло, пленясь наружным блеском Рима; он не заметил глубокого развращения нравов до Р. Х., величия и добродетелей христианства пред добродетелями язычества.

Когда было предложено употреблять в химических формулах указатели (например, CO₃), тогда возражали, что это будет неприятно математикам. Об этом спорили 10 лет — и убедились в необходимости сих формул только тогда, когда нашлись такие соединения, которых иначе нельзя было выразить.

Полезно бы предложить призы за лучшие предложения по следующим предметам:

1. Собрать все самые сильные возражения, которые когда-либо были сделаны против открытий, ныне признанных за истину, каковы, например, обращение земли вокруг солнца, электричество, кровообращение, паровые машины, прививание оспы, кислород и проч., и проч.

2. Собрать исторические известия об всех открытиях, приписываемых случаю, и показать, что ни одно из них не могло бы случиться, если бы не было приготовлено или возбуждено усовершенствованием наук.

3. Собрать такие же известия о всех открытиях, получивших свое начало в теоретических положениях и ныне обратившихся в приложения к необходимым ежедневным потребностям.

Достоинo замечания, что сильный никогда не может постигнуть, до какой степени может дойти подлость души слабого; от этого происходит то, что сильный часто обижается; другими словами, он не предполагает в слабом возможность или желание оскорбить его, а между тем слабый в сильном едва предполагает человека и потому, по своему мнению, никогда не может довольно унизиться.

Согласимся, пожалуй, с Бентамом²⁴ и при всяком происшествии будем спрашивать самих себя, на что оно может быть полезно, но в следующем порядке:

- 1-е, человечеству,
- 2-е, родине,
- 3-е, кругу друзей или семейству,
- 4-е, самим себе.

Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, которые окружают человека с колыбели. Что только полезно самим вам, то, отражаясь о семейство, о родину, о человечество, непременно возвратится к самому человеку в виде бедствия.

Мыслить не значит жить, ибо мысль есть следствие жизни. Действовать не значит жить, ибо действие есть следствие мысли.

Нет жизни без глубокого чувства; нет сего чувства без любви; нет любви без сего чувства.

В свете есть много пожертвований, которых мы не замечаем. Так, измученные продолжительною работою, мы прибегаем к возбуждающим средствам, или заставляем желудок спешить пищеварением, т. е., как сказал один врач, мы бьем усталую лошадь; лошадь везет в первую минуту скорее, но это на счет ее сил, на счет ее жизни. Так каждый день мы потоняем свои усталые силы, и в будущем из нашей усталости составляет огромный капитал с процентами, который вычитается из нашей жизни и которым мы могли бы воспользоваться, если бы захотели вести жизнь менее деятельную.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К "ОПЫТАМ РАССКАЗА О ДРЕВНИХ И НОВЫХ ПРЕДАНИЯХ">

Считаю нужным сказать несколько слов о том смысле, в котором я принимаю слово предание, смысле, до некоторой степени уклоняющемся от того, который бoльшую часть в сем случае предполагается. Обыкновенно сему слову присволяется значение: древнего сказания; я принимаю это слово в более простом и общем его значении, т. е. в значении всего, что передается от лица к лицу. - Я уверился (по основаниям, о которых бы надобно было написать целую книгу ex professo*), что независимо от отдельных лиц, производящих то, что вообще называется литературою, каждый самобытный народ в целости творит свою эпопею, более или менее полную, более или менее сомкнутую. Такая эпопея есть поэтическое воплощение всех элементов народа, выражение его идеального характера, его быта, его радостей, его печалей, наконец, его собственного суда над самим собою. Таковы, например, русские песни; при внимательном рассмотрении нельзя не убедиться, что в них дело идет об одном и том же герое, об одной и той же героине; они не названы, ибо всякий знает их безымянное имя. Это имя - человек, как он представляется человеку в данной стране и в данную эпоху. Все эти песни, сказания, - суть отрывки из одной и той же классической поэмы, в которой отчетливо сохранено единство происхождения, т. е. жизнь человека, представленная с различных сторон поэтического воззрения. Один завел песню, другой ее продолжает.

Совершилась первая эпоха развития основных элементов; поэтические цветы вянут, пригвожденные к печатным листам, но вянут потому, что плод

созревает; к нему устремлены все силы организма; для плода вырабатывается в таинственных

* по обязанности (лат.).

сосудах живительный сок; для него веет ветер, для него листья обмываются студеной росой, для него палящие лучи солнца. Цветок переходит в воспоминание; ученые подводят под него комментарии; его вид одушевляет новых поэтов – а поэма продолжается, хотя под иною формою; ибо творец ее все тот же – он лишь переродился; сначала являются эпизоды, более или менее близкие к главному предмету, принимающие различный характер, смотря по временам: религиозный, сатирический, философский и проч.; в них зародыш новой поэмы; никто не знает ее содержания, но всякий собирает для нее материалы; все поглощается в них: и часть действительного события, и разгадка того, что могло бы случиться; и следствие глубокой думы, и разгульное слово. Сего рода предания вокруг нас; со времен новой русской поэзии, т. е. со времен Кантемира, эти предания идут двумя путями; одни из них – памяти сердца: выражения чистого, безусловного, бессознательного, девственного развития жизни; таковы наши летописи, легенды, аскетические и военные рассказы; этого рода предания вошли в состав большей части произведений нашей литературы; другие предания – памяти ума: выражение нашего суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частию ироническое; сего рода предания послужили материалами для произведений сатирических, которых резкая черта протянулась в нашей литературе от Кантемира до Гоголя. – В обоих направлениях источник один: высокая любовь народа к самому себе, и в обоих одни материалы (независимо от творческого дара отдельных лиц) – предания народные, никем не изобретенные и всем принадлежащие. Сохранять сии предания – долг; выразить их по собственному своему воззрению – право каждого, ибо сии предания суть достояние общее.

ОПЫТ БЕЗЫМЯННОЙ ПОЭМЫ

[...] в поэзию; у одного народа срастаются в эпопею, какова, например, Илиада, у другого становится пищею для человека, который сжимает их в свой собственный индивидуальный характер – каковы Ариосто, Шекспир. Давно уже спрашивали, отчего у нас нет своей эпопеи? Над этим вопросом теперь простительно смеются. Но если поэтический элемент есть элемент необходимый в жизни каждого народа и если понимать под словом эпопея поэтический отчет, отдаваемый народом самому себе, то мы вправе говорить не улыбаясь: отчего у нас нет своей эпопеи? Другими словами, отчего наши песни не слились в эпопею? с этим вопросом тесно соединен другой: нельзя ли найти в наших песнях хотя <бы> неразвившиеся зародыши такой эпопеи?

В истории русских народных песен случилось нечто особенное, как и в истории всего русского. Мы еще теперь не вышли из героического века, а нас захватило и письмо, и книгопечатание. Наши народные песни не успели разрастись, не успели свиться вместе – как их разрозненных, неспелых схватила могила типографского станка.

Мы не успели перейти того круга времени, в который народ еще сочиняет свои песни, а еще не поет сложных; мы не перешли времени этого пиитического брожения, в котором таятся зародыши будущей эпопеи, – как уже все наши песни сделались добычею истории. Действительно, в захваченных ею песнях мы находим следы этого брожения; вероятно, в старину наши певцы, как и у всех народов, не заботились о филологической верности своих песен; всякий символу своей жизни давал свой характер, каждый в песне выражал особенное, относившееся к нему обстоятельство; начатую песню одним продолжал другой, отделяя от нее то, что собственно к нему не относилось, и прибавляя свое; таким образом, переходя из уст в уста, песни в течение времени очистились бы ото всего, что принадлежало каждому сочинителю в особенности, и в них бы остались чувства и происшествия, общие всему народу, всему народу драгоценные. Но, повторяю, это очищение не успело совершиться; оттого почти нет ни одной русской песни, у которой бы не было

несколько начал и несколько концов; прикрепленные в этом виде к бумаге, они стали повторяться уже как нечто чужое, перенятое, а не самобытное; сверх того, по естественной лениности человека, наши певцы предпочли петь готовое, нежели производить сами; и замерла в самом зародыше наша русская эпопея.

Не знаю, ошибаюсь ли я, но, кажется, эти замечания не противоречат общему ходу явлений русского народа и в истории, и в науках, и в искусстве. Пока другие народы систематически, с немецкою точностью перекладывали золотой век серебряным, серебряный железным, русский дух нашел средство не послушаться этого рассудительного распределения; мы в одно время заводили Академии и запирали своих жен по магометанскому обычаю; стреляли и пулями, и стрелами; крестили двери от домового и переводили Вольтера; и чуть-чуть было не отправили какого-нибудь мифологического божка к месту назначения на паровом пакетботе, за номером. Кто знает? может быть, для того, чтобы понять русскую историю, надобно выворотить наизнанку историю других народов.

Я горячо верю, что суждено какому-нибудь поэту силою творческого духа угадать законы развития нашей народной эпопеи, досоздать неоконченную; также, может быть, и исторические изыскания расположат драгоценные попытки нашей народной поэзии в хронологический ряд, объяснят темное, отыщут затерявшееся, воскресят потерянное, дополнят небывалое... сладкая мечта! но мне кажется, что и при теперешнем состоянии наших песен можно заметить зародыши русской эпопеи. Сказать вам предмет ее мне так же было бы трудно как сказать настоящий предмет Илиады, и несмотря на то, что она собрана в одну книгу и что на нее написаны тысячи комментариев; ибо истинный предмет всякой народной самой по себе выросшей эпопеи – суть ее отдельные части, слившиеся между собою не по общему предмету, но по общему чувству*. Зарождение этого общего чувства вы найдете и в русских песнях.

* Нечто подобное мы находим в собрании стихотворений поэта Языкова², на которого рассудительные критики очень сердились, зачем он не напишет длинной поэмы; в его книге видите мелкие отдельные стихотворения, разнообразными формою, писанные без порядка, без видимой связи; прочтете все вместе – это целая поэма, в которой горит одно общее чувство, развившее себя во всех возможных направлениях. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Я смею надеяться, что мне удалось найти в них нечто такое, что бы могло служить по крайней мере эпизодом в этой безыменной и беспредметной поэме, если б она должна была развиваться по общим для всех народов законам развития эпопеи. Я знаю, что многое может быть сказано в опровержение действительности моего эпизода, – но спросите у архитекторов, какая так называемая реставрация древнего здания не подвержена сомнению.

На Руси могли существовать три рода поэтических произведений: самыми новейшими из них могут быть почтены песни духовные, в которых более или менее отражается Византийский неоплатонизм; к более древним должны быть отнесены песни святочные и свадебные – может быть, остатки языческих мотивов, впоследствии изменившихся и действиями христианской религии, и влиянием новых обычаев; – едва ли не к самым древним русским песням должны быть отнесены те, которые я назову удалыми, т. е. в которых воспеваются наезды и вообще житье-бытье русских молодцов; не знаю, по случаю ли или потому, что эти препятствия сильнее и чаще трогали воображение певцов наших, но сии песни, частью попавшие в сборник Кирши Данилова³, частью сохранившиеся под названием Каиновых песен, находятся у нас и в большем пред другими количестве, имеют в себе нечто общее, чего не замечается в прочих родах наших древних произведений; в них найдете вы характеры, понятия, чувства, целую жизнь русского наездника, являющегося под именем то гостя, то богатыря, то кулачного бойца, то Волжского бурлака; Соловей Будимирович, Васька Буслаев, Фрол Минаевич, Стенька Разин, даже Ванька Каин⁵ – это одинокие стихии, которые не успели слиться в одно и то же символическое лицо, подобно тому, как несколько Ахиллов и несколько Юпитеров слились в одного Ахилла, в одного Юпитера; это обломки аэролита^б, не успевшего сделаться планетою.

Кто бы ни были родоначальники <поэм?>, но все они должны были начать свою историю завоеваниями. Этот дух завоеваний, прекратившийся у других народов, по особенным обстоятельствам продолжался долго в Русской земле.

Порабощенные татарами русские не могли совершенно сломиться под сим игом, но силою оружия искали своей независимости и все отнятое у общего врага считали законным приобретением.

От сего дух рыцарства, или, лучше сказать, удальства продолжился в России долее, нежели в других странах. Мало-помалу Россия, освободившись от ига иноплеменников, стала приходить в спокойное, органическое состояние, но сие спокойствие и порядок не могли вдруг распространиться по всем ее пределам, и удальство продолжалось, только с тою разницею, что при более <слово неразборчивое положении дела дух завоеваний, врожденный русскому народу, получил характер разбойничества, ибо сей дух действовал уже не на пользу целого государства, но лишь для отдельного скопища людей. – Как бы то ни было, сей дух – был дух русский – и произвел Ермаков и Хабаровых⁷. Известно, что лишь обстоятельства времени дают то или другое название предметам, по существу своему однородным. Сей дух завоеваний, или, лучше сказать, удальства, должен был отразиться в народных песнях и сказках. – Удальства, говорю, ибо одно сие слово довыражает это неотъемлемое стремление силою оружия завоевать первенство у других народов; здесь действовали не политические идеи, не мистическая мысль, как в Европе во время крестовых походов, не даже корысть, а просто, как говорят наши песни,

...гулял добрый молодец
И задумал думу крепкую.

Это удальство, почти всегда сопровождаемое успехами, произвело особенный характер в наших песнях: балагурство – слово, которое, как равно и слово: удальство, не находит в себе однозначного в других языках, слово, которое в наших песнях есть произведение и суеверия, и неверия. Это странное соединение, это странное состояние духа поэта, в продолжение которого он верит и не верит словам своим, боится и насмехается над предметом своей боязни, заключается только в русских преданиях и составляет в них особенный фантастический характер, который не похож на фантастические роды поэзии ни немцев, ни итальянцев. Наш русский богатырь не может не верить действительности Змея Горыныча, но, полагаясь на свою силу, не может и не смеяться над ним, или, как говорит песня, русский богатырь

...не верует ни в сон,
ни в чох,
но верует в свой червленый
вяз.

Этот особенный характер отражается во всех русских сказках, песнях и составляет характерную черту нашей народной поэзии; она видна в <слово неразборчиво> и Ильи Муромца, и Садка богатого гостя, и Дурня (см. Собр<ание> Древ<них> Рус<ских> стих<отворений> Кириши Данилова), и почти в каждой сказке; мимоходом будь сказано, это особенная черта, на которую не хотят обратить внимания наши ревностные подражатели Вальтер Скотта⁸, есть богатый рудник, из которого может развиваться род романа, истинно русского, истинно самобытного.

<ПИСЬМО А. А. КРАЕВСКОМУ>

Скажите, кто это меня так горячо любит и так досадно, так жестоко не понял? Тем досаднее и тем грустнее, что любит! Стало, он любит не меня, а мой фантом. Тем грустнее, что признает во мне талант, ибо с вышины падать больнее. Если бы мне сказали: ты начинаешь выписываться, твой талант потерял свежесть – я бы, может быть, не согласился на правах архиепископа Гренадского, но мне бы не было так грустно; мне говорят: ты падаешь, потому что малу-помалу миришься с пошлостью жизни и оттого, что дал в себе место скептицизму, миришься потому, что твоя филиппика принимает вид повести, сомневаешься потому, что не веришь в данное направление разума человеческого! Вы, господа, требуя в каждом деле разумного сознания, вы находитесь под влиянием странного оптического обмана, вам кажется, что вы требуете разумного сознания, а в самом деле вы хотите, чтобы вам верили на

слово. Ваш criterium разум всего человечества; но как постигли вы его направление? Не чем другим, как вашим собственным разумом! Следственно, ваши слова "верь разуму человечества" значат "верь моему разуму!" - и, что бы вы ни делали, каким бы именем вы ни называли ваш criterium, в той сфере, где вы находитесь, вы всегда придете к этому заключению. А знаете ли, что значит это заключение? Верь моему разуму, следственно, мой разум совершенен, следственно, я - бог, т. е. вы другою дорогою, но дошли до одинакового заключения с римскими императорами, которые ставили себе статуи и заставляли им поклоняться. Этот роковой ход разума человеческого предвидела Библия в словах "не сотвори себе кумира!". Все мы чувствуем необходимость одной безусловной истины, которая осветила бы весь путь, нами проходимый, но спорим о том, где она и как искать ее. Не называйте же скептиком того, кто ищет лучшего способа найти ее и испытывает для сей цели разные снаряды, как бы странны они ни казались. Скептицизм есть полное бездействие, и его должно отличать от желания дойти до самого дна: медик не знает, какое дать лекарство, это незнание имеет следствием то, что он не пропишет никакого рецепта, - вот скептицизм; медик прописал лекарство, но, возвратясь домой, спрашивает себя: то ли он прописал, нет ли чего более лучшего, - делает опыты, вопрошает опыты других - это не скептицизм, но то благородное недовольство, которое есть залог всякого движения вперед. Пирогов прежде, нежели отрежет руку у живого, каждый раз предварительно отрежет ту же руку у десятка трупов - скептицизм ли это?

Я не могу принять за criterium разума человеческого: во-первых, потому, что он неуловим - он агломерат, составленный из частных разумов; идеализация его кем бы то ни было всегда будет произведением индивидуальным, следственно, не имеющим характера истины безусловной, всеобъемлющей; во-вторых, потому, что он еще не уничтожил страдания на земле; говорить, что страдание есть необходимость, значит противоречить тому началу, которое в нашей душе произвело возможность вообразить существование нестрадания, откуда взялось оно? в-третьих, потому, что разум человеческий, как продолжение природы, должен (по аналогии) также быть несовершенным, как несовершенна природа, основывающая жизнь каждого существа на страдании или уничтожении другого. Все эти и многие другие наблюдения заставляют меня искать другого критерия.

Форма - дело второстепенное; она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим - вот и все; но заключать отсюда о примирении с пошлостью жизни - мысль неосновательная; я был всегда верен моему убеждению, и никто не знает, каких усилий, какой борьбы мне стоит, чтоб доходить до дна моих убеждений, отстранять все, навеянное вседневной жизнью, и быть или по крайней мере стараться быть вполне откровенным.

Если бы кто, судя обо мне, не кладя моих мыслей на прокрустово ложе, применил их к собственной моей теории и с этой точки зрения посмотрел на них, то, может быть, много странного перестало бы быть странным и, может быть, тогда бы заметили, что, например, наблюдения над связью мысли и выражения принадлежат к области, донныне еще никем не тронутой и в которой, может быть, разгадка всей жизни человека. Впрочем, я сам виноват во многом; у меня много недосказанного - и по трудности предмета и с намерением заставить читателя самого подумать, принудить самого употребить свой снаряд, ибо тогда только истина для него может сделаться живою.

Наконец, - называйте это суеверием, чем вам угодно, - но я знаю по опыту, что невозможно приказать себе писать то или другое, так или иначе; мысль мне является нежданно, самопроизвольно и, наконец, начинает мучить меня, разрастаясь беспрестанно в материальную форму, - этот момент психологического процесса я хотел выразить в Пиранези, и потому он первый акт в моей психологической драме; тогда я пишу; но вы понимаете, что в таком моменте должны соединяться все силы души в полной своей самобытности: и убеждения, и верования, и стремления - все должно быть свободно и истекать из внутренности души; здесь веришь чему веришь, убежден - в чем убежден, и нет места ничьему чуждому убеждению; здесь а = а.

Требовать, чтобы человек принудил себя быть убежденным, - есть процесс психологически невозможный.

Терпимость, господа, терпимость! - пока мы ходим с завязанными глазами. Она пригодится некогда и для вас, ибо, помяните мое слово, если вы

и не приблизитесь к моим убеждениям, то все-таки перемените те, которые теперь вами овладели; невозможно, чтобы вы наконец не заметили вашего оптического обмана.

<ДВЕ ЗАМЕТКИ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ>

<1.> Базаров - (Тургенева "Отцы и дети")

Начнем для большей определенности в выражениях с самого осязательного приклада. В мире материальном мы встречаемся или с такими организмами, где разнородные элементы сливаются в одно целое (химическое органическое средство в веществе), или с агломератами, где эти элементы находятся один возле другого, но не соединены живым сродством. Есть элементы, которые не могут быть вместе, не изменив друг друга, или точнее сказать, не перейти в состояние нового тела. Так, поташ¹ не может быть возле кислорода, не перейдя в состояние поташа¹. Напротив, сера и ртуть, как известно, могут быть даже механически перемешаны друг с другом, но не быть в химическом соединении, не образовать киновари².

Для сопряжения разнородных элементов часто необходим посредствующий элемент; так, нужна известная степень жара для соединения серы и ртути, т. е. для образования киновари.

То же и в мире искусства, могут быть соединены весьма разные черты в одном и том же лице и образовать цельный характер; напротив, в другом случае эти черты составляют агломерат, хотя и могущий образоваться в цельный организм - но лишь хитростию искусства.

Все характеры, даже второстепенные, в "Отцах и детях" представляют нам эту органическую цельность - дело высокого таланта. Отца и дядю, мать ...го и ...ую, Ситникова и даже Феничку и... видим перед собою живьем; нельзя того же сказать о Базарове.

В этом лице мы встречаем следующие элементы.

- 1) Отрицание всякого авторитета в науке, и любовь к наукам.
- 2) Отрицание, или лучше сказать, боязнь всякого выражения чувства: любви сыновней, любви к женщине, впечатлений природы, даже выражения какой-либо истины.
- 3) Цинизм в житейском обращении и
- 4) Ненависть к так называемым аристократическим привычкам и вообще к так называемой аристократии.
- 5) Какой-то фатализм, принимающий вид храбрости, и мягкосердие, принимающее вид исполнения долга (в сцене дуэли и ухаживани<я> за раненым).
- 6) Безусловное благоговение перед самим собою.

Все проявления этих разных элементов изображены мастерски, но психолог вправе спросить у автора: есть ли органическая связь между всеми этими элементами? - Нет сомнения, что она была в его мысли, но не поленился ли он указать на тот посредствующий элемент, при помощи которого сера и ртуть сопряглись в киноварь? - Ибо без того мы не видим, каким образом многие из исчисленных нами элементов улеглись вместе в характере Базарова.

Цинизм легко сопрягается и с черствым, и с мягким сердцем, с отрицанием всякой любви и с пламенной чувствительностью, с закоснелым и пошлым плебеизмом и проч.

Но мы не можем понять, каким путем отрицание авторитета в науке может ужиться с презрением к истине, с отрицанием всякого человеческого чувства, словом, с таким безграничным <нигилизмом>. Здесь совершилось какое-то психологическое чудо, к которому автор поскупился дать нам ключ: ибо в естественном порядке вещей отрицание всякого авторитета в науке обуславливает совершенно иные явления.

Отрицание авторитетов может упасть с потолка лишь для Ситникова; но для Базарова оно могло быть следствием лишь долгого опыта многих пре<косновений>, разочарований, словом, трудной борьбы. Сознательное отрицание авторитетов в науке есть дело великого духа, целомудренно ищущего одной истины.

Человек, способный взаправду к такому отрицанию, не может презирать никакого явления в какой бы то сфере ни было, ученой, нравственной,

семейной, ибо в каждом из этих явлений <он> может подозревать существование именно того рычага, которого он ищет, чтобы поднять мир истины.

Отрицание авторитетов часто смешивают с скептицизмом, но здесь лишь оптический обман. Между тем и другим целая бездна: отвергающий авторитеты ради святости истины ищет истины; скептик ничего не ищет, ибо если бы он стал чего-либо искать, то признал бы существование этого чего-то, и с той минуты он уже не скептик. Так, напр<имер>, скептик не должен позволить себе даже перевязать артерию - а отвечать: к чему это? может быть, и так залечится!

Скептицизм есть леность ума; отрицание авторитета есть следствие его самобытной деятельности.

Скептицизм может и должен соединяться с фатализмом; фатализм не совместим с исканием истины; напротив - самым ремеслом своим <искатель истины> на каждом шагу должен убеждаться, что его *fatum* есть дело рук его, не более.

Отрицание авторитетов ведет ко внутреннему искреннему смирению в такой степени, что искатель чистой истины должен не доверять и собственному авторитету и допускать каждую свою мысль лишь до дальнейшей проверки, *, benefise d'inventaire**.

Следствием самой методы такого искания истины должна быть веротерпимость, толерантизм³, но отнюдь не индифферентизм. Оттого и с этой стороны искатель истины не может быть равнодушен ни к любви, ни к обаянию семейства (когда оно не противоречит его стремлениям, чего нет в семействе Базарова), ни даже к впечатлениям природы, ибо самая неопределенность этих впечатлений есть для него нива к возделанию.

Не скептик ли Базаров? - Нет! Потому что он учится, следовательно, не отвергает возможности изучать природу, следовательно, не отвергает ни ее существования, ни ее законов.

Не циник ли он, признающий лишь чувственные наслаждения, - нет, ибо настоящий циник не будет тратить времени над анатомическими рассечениями.

Презрение к барчукам - дело возможное, но ремесло искания истины должно мешать ему слишком упражняться в этом презрении; для него барчук есть, конечно, явление, но явление слишком мелкое на пути его.

Каким образом все эти исключаящие друг друга элементы могли соединиться в одном и том же характере, есть тайна автора, им не объясненная. Мы здесь, как в недовольно изученном факте, видим явления, следующие одно за другим, но закон их сопряжения нам неизвестен.

Приходит на ум: не шарлатанит ли Базаров? [Не эту ли мысль автор хотел выговорить в характере Базарова?]

<2>

1867. "Дым" Тургенева, помимо таланта, есть явление весьма грустное, потому что, за исключением выводов, 9/10 в нем верны; но всего грустнее то, что человек с талантом не нашел другого вывода. Много в русских недоделанного, но надобно было в книге русской жизни поискать того, что в ней написано между строк. Скажут, ничего; но и воздух -

* условно (франц.).

ничего, но мы им дышим. Правда и то, что большая часть одной половины понимает лишь свои обыденные выгоды и страстишки, а большая часть другой половины ничего не понимает; но есть некоторый *quantum** и понимающий, и думающий, и болеющий. Этот *quantum* есть закваска, которая рано или поздно заквасит все русское тесто, и оно поднимется. Не надобно высказывать презрение к закваске, иначе мы век останемся при Губаревых, Ратмирове, Бамбаевых, Биндасо-вых, Ворошиловых, Суханчиковых, Тугиных и "снижодительных" генералах.

Есть 4 строки, доказывающие, что Тургенев еще не Мессия отчаяния и безнадежности. "Великая мысль осуществлялась понемногу; переходила в кровь и плоть; выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам - ни явным, ни тайным".

То-то и есть, что не растоптали,

* количество (лат.).

НЕДОВОЛЬНО*
(посв. И. С. Тургеневу)

Брось прохладушки -
неделанного дела много.
Русское присловье

I

В минуту внезапной усталости художник вымолвил слово: "Довольно!" - широкое и... коварное слово. - Для кого довольно? для себя? для других? - Для себя - по какому праву? - Для других - не худо бы их спроситься. А если мы подадим протест... не Юпитеру, не Аполлону - пусть они остаются себе в Ватикане, там они, должно быть, с руки - нет! если мы подадим протест живым людям, хоть самим себе? как! Мы дали художнику право нас изучать, разлагать наши духовные силы, высматривать нашу красоту и наше безобразие, особенности нашего быта, нашей природы; взял он у нас родное Русское слово, в своих произведениях приучил нас читать самих себя, - эта привычка нам дорога, и мы нисколько не намерены ее покинуть, - как вдруг ни с того ни с сего художник говорит: "будет с вас! довольно!" ...нет! так легко с нами он не раздается! своей умною мыслью, своею изящною речью он закабалил себя нам; - нам принадлежит каждая его мысль, каждое чувство, каждое слово; они - наша собственность, и мы не намерены уступить ее даром.

II

Приходит на ум и другое. Да выговорилась ли суть этого слова? Здесь не одна ли буквенная оболочка, под которою зародилось другое, новое слово? не впервые буквам обманывать людей вообще, а в особенности художников... Человек роет землю, подумаешь - могила; ничего не бывало! он просто сажит дерево. Дерево отцвело, плод свалился, падают пожелтевшие листья - прощай, дерево!., ничего не бывало; плод осеменил землю, листья прикрыви его, - да прорастет зародыш!

* Всем нашим читателям наверно памятна прекрасная поэтическая фантазия "Довольно!" (см. соч. И. С. Тургенева, т. V, с. 337-350. Изд. 1865 г.), где сочинитель метко схватил те тяжкие минуты в жизни художника, когда измученный и работою, и людскою неблагодарностию, усталый, обессиленный, он как будто теряет веру в самого себя, и в Природе, в жизни ищет оправдания своему недоверию.

Мы позволили себе написать род ответа, под первым впечатлением статьи Ивана Сергеевича, и потому нумера в нашей статье соответствуют до некоторой степени таким же номерам статьи "Довольно". (Прим. В. Ф. Одоевского.)

III

- "Довольно", - потому что все изведено, потому что "все было, было, повторялось, повторяется тысячу раз: и соловей, и заря, и солнце". Что, если бы какая чудотворная сила потешила художника, и в угоду ему, ничто бы в мире не повторялось? соловей бы пропел в последний раз, солнце не взошло бы завтра, кисть навсегда бы засохла на палитре, порвалась бы последняя струна, замолк бы человеческий голос, наука выговорила бы свое последнее слово? - что же за тем? мрак, холод, бесконечное безмолвие и ума и чувства... о! тогда человек действительно получил бы право сказать: довольно! то есть, дайте мне опять тепла, света, речи, пения соловья, шелеста листов в полумраке леса, дайте мне страдание, дайте простор моему духу, развяжите его деятельность, хотя бы в ней была для меня отрав... словом, воссоздайте неизменяемость законов Природы! Пусть снова возникнут предо мною неразрешенные вопросы, сомнения, пусть солнце будет равно отражаться и в безбрежном море, и в капле утренней росы, повисшей на былии.

IV

В самом ли деле мы когда-нибудь стареемся? этот вопрос подлежит еще большому сомнению. То, что я думал, чувствовал, любил, выстрадал вчера, за 20, за 40 лет, - не состарелось, не прошло бесследно, не умерло, но лишь преобразилось; старая мысль, старое чувство отзывается в новых чувствах; на мое новое слово, как сквозь призму, ложится разноцветный оттенок бывшего... Наконец: неужель художник заперт в художественной сфере? - неужель та могучая, творческая сила, что дана ему при рождении, не должна проникать и за пределы этой сферы? Ведь там - приволье большое, раздолье широкое! - "Я сегодня уж слишком заработался, - говорил Питт1, - дайте мне другой портфель". - Такие слова может, даже обязан повторить каждый свыше одаренный человек - будь он художник, ученый, служака, промышленник. Даровитая организация - эластична; она не имеет права вкопать свой талант в землю; она должна пустить его в куплю, где бы ни привелось - а работы на земле много, да и работа неотложная, многосторонняя; всех зовет она - и юного и старого; на всех ее хватит, и все ей нужно, и часто именно то, чем Господь одаряет художника; без эстетической стихии ничто не спорится; одной механикой и дельной мышеловки не состроить.

V

Правда, после дня настает ночь, после борьбы усталость. Как мягка, как отрадна эта метафизическая постель, которую мы стелим себе, собираясь на покой! как привольно протянуться на ней, убаюкивая себя мечтами о тщете человеческой жизни, о том, что все скоротечно, что все должно когда-нибудь кончиться: и силы ума, и деятельность любви, и чувство истины, - все, все - и биение сердца, и наслаждение искусством, Природою; что всему конец - могила. Не все ли равно, немного позже, немного раньше? - Эти минуты сторожит злейший из врагов человека, хитрейший из льстецов: духовная лень. - "Зачем же и вставать с постели?" - говорит он нам, - и очень логично. "Пусть там встает солнце, если ему так хочется. Что тебе нужды до него? посмотри, на что оно похоже, посмотри, как оно безнравственно равнодушно! оно светит сегодня, как вчера, и доброму, и злему, греет и горлинку, и тигра, улыбается и матери с младенцем и звероподобной битве; сними же с него поэтическую личину, погрузись, подобно солнцу, в созерцательное равнодушие, - от него один шаг к полному, нетревожному бездействию..." - и злой дух много напевает нам таких песен. Но, к счастью, против злого духа восстает наш ангел хранитель: любовь! любовь всеобъемлющая, всецующая, всепрощающая, ищущая делания, ищущая всезнания, как подготовки к своему деланию...

VI

Прочь уныние! прочь метафизические пеленки! не один я в мире, и не безответен я пред моими собратиями - кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария. - То, что я творю, - волею или неволею приемлется ими; не умирает сотворенное мною, но живет в других жизнью бесконечною. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет; я привел в колебание одну струну, оно не исчезнет, но отзовется в других струнах гармоническим гласовным отданием. Моя жизнь связана с жизнью моих прапрадедов; мое потомство связано с моею жизнью. Неужель что-либо человеческое может быть мне чуждо? Все мы - круговая порука. Архимедовыми вычислениями движутся смелые механизмы нашего века; мысль моего соседа, ученого, переносится электрическим током в другое полушарие; Пифагор измерял струны и вычислял созвучия для Себастиана Баха, Бах работал для Моцарта и Бетховена - Бетховен для... новых деятелей гармонии. Солнечный луч, призванный вчерашнею наукою к ответу о составе солнца, готовит новый мир знаний для будущего человечества, мир, нами не угадываемый, - но мы теперь на каждом шагу уже можем прочувствовать то высокое наслаждение, которое ощутят наши дальние потомки благодаря нашим трудам. Похорони мы эти труды в могиле созерцательного бездействия, мы похороним и деятельность и наслаждения

наших будущих собратий... имеем ли мы право на такое смертоубийство?

VII, VIII, IX, X, XI

Как в мире науки, так и в мире чувства (какое бы оно ни было: сознательное или бессознательное) минуты любви, вдохновения, слово науки, даже просто доброе дело не покидают нас и среди самой горькой душевной тревоги, - но светлую полосую ложатся между наших мрачных мечтаний. Благословим эти минуты, а не проклянем; они не только были, они нам присущи; они живут в самом нашем отрицании.

XII

Да! в самом отрицании! можно отрицать лишь то, что мы познали, что извели, - иначе мы будем отрицать отрицание. Кто имеет право сказать: "в последний раз" и, подобно зверьку, опуститься в глубь и заснуть? Да и во сне будут мерещиться "и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды" - и наяву мы невольно будем искать их. Есть в духе человека потребность и думать и чувствовать, как в пчеле-работнице потребность строить ячейку. Для чего, для кого пчела строит ее? для чего наполняет она ее медом, собираемым с опасностью для жизни? может быть, не она воспользуется этой ячейкой, этим медом, - воспользуются другие, ей неизвестные существа, воспользуется царица и ее новое племя... Но как заметил, кажется, Кювье², пчела носит в себе образ ячейки, геометрический призрак; - осуществить этот образ, этот призрак есть непреодолимое призвание пчелы; в исполнении этого призвания, должно быть, вложено особого рода наслаждение, - и без него жизнь пчелы осталась бы неудовлетворенною. Если бы пчелы засыпали во время своего рабочего периода, прекратилось бы существование ульев, - зародыши умерли бы с голода; уничтожение этой породы, по-видимому, столь незначительных существ, может быть, не обошлось бы даром и остальному миру; может быть, пришлось бы работать над средствами заменить пчелу, - что еще не далось науке.

XIII

Судьба! - что это за дама? откуда она вышла? где живет она? любопытно было бы о том проведать. По свету бродит лишь ее имя, вроде того исполинского морского змея, о котором ежегодно писали в газетах, но который еще не потопил ни одного корабля и на днях обратился в смиренного моллюска. Никто еще не подвергался такой напраслине как судьба-невидимка. Про одного шахматного игрока рассказывали, что он играл бы мастерски, но что в шахматах ему не везет, несчастливо играет, - такая, видно, его судьба. Эта шутка похожа на дело. Действительно, игроку несчастье: рассеянность, невнимание, плохое знание игры, и все мы - шахматные игроки почти в том же роде; разумному, ученому игроку - игра открыта; смотря по степени своего знания, он может предвидеть ходы жизни, прикрыться, избежать, поразить в?время. Все это возможно, но не всеми делается, не по милости какой-то судьбы, а, в б?льшей части случаев, по собственному нехотению. Все люди спят на постелях; у всякого в комнате есть печка; Кондратий Иванович лег в постелю и умер - от угара. Судьба? ничего не бывало! он просто не позаботился посмотреть, как закрыта вьюшка, и положился на судьбу... Во многих московских местностях есть подземные родники; у одного хозяина подмыло дом, и дом повалился. "Вот судьба-то!" - говорили прохожие. Сосед его открыл у себя родники прежде постройки дома и свел их в проточный пруд. - "Какой хорошенький прудок!" - говорили прохожие; - никому не пришло в голову приписать этот прудок судьбе, - а судьба, т. е. местность, была одинакова для обоих соседей. Неужели наука напрасно доказала, что случайности или судьбы не существует - в обыденном смысле этого слова; что все возможные случайности повинуются общим, неизменным законам, которые... стоит изучить. По математическому закону вероятностей, из числа повторений одного и того же случая должно быть несколько отрицательных, или несчастных; но эта вероятность в б?льшей части случаев может быть ограничена волею человека. У двери порог; есть для меня ежедневная вероятность за него зацепиться, упасть и сломить себе шею; но если я дам

себе труд не забыть, что тут есть порог, то вероятность споткнуться удалится от меня на бесконечную величину. Но возразят: а грозные, неожиданные явления Природы: бури, землетрясения, взрывы?., к числу этих неожиданных явлений некогда причисляли солнечное затмение. Когда и для земли наука выработает такие же данные, какие она добыла в звездных пространствах, - тогда все неожиданные явления Природы будут предсказываться в календарях, наравне с восходом и закатом солнца или месяца. Когда дрожания земли будут изучены, как дрожания струны или Хладниевы фигуры*3, тогда не станет дело и за снарядом против землетрясений, вроде громоотвода. Наука, кажется, еще далеко не дошла до такого успеха; конечно! но что же из этого следует? - единственно то, что мы еще не кончили нашего урока на земле, что еще не следует нам покидать указку... словом, что недовольно! недовольно!

Дело в том, что все мы больны одною болезнью: неприложением рук, - но мы как-то стыдимся этой болезни и находим удобнее сваливать продукты нашей лени на судьбу, благо она безответна. С "самозабвением и самопрезрением" далеко не уйдешь; нужна во всех случаях жизни известная доля самоуверенности: в битве ли с жизнью, в битве ли с собственной мыслию. Надобно уметь прямо смотреть в глаза и другу и недругу, и успеху и неудаче, и делу и безделью. Но скажут: что же за радость жить целый век настороже! пожалуй, уподобишься тому чудаку**, который и в ясную погоду ходил с зонтиком, а на зонтике был приделан громовой отвод, - потому что, рассуждал чудака, были случаи громовых ударов и при безоблачном небе. - Пограничная линия между разумным и смешным весьма тонка и неопределенна, но из этого не следует, чтобы ее не было и чтобы человек был не в силах стать по ту или по сю сторону этой линии. Все зависит от умения обращаться с жизнью, от смысла, который мы придаем ее явлениям. Влияние, производимое на нас нашей деятельностью, вполне подчинено той идее, которую мы к ней присоединяем. Возьмем пример самый простой: что может быть скучнее проверки счетных книг? Человек жалуется: я рожден поэтом, живописцем, музыкантом, а из меня судьба сделала бухгалтера. Заметим мимоходом, что истинное призвание остановить трудно; оно прорвется сквозь все препятствия; много ли было великих людей, изобретателей, художников, которые бы родились на розах? всякому пришлось бороться и с людским равнодушием, и с занятиями, ему несвойственными, нередко в длинные ночи вытачивать самые грубые инструменты для своего изобретения... может быть, в этой борьбе и закалился их дух на великое дело. Обратим-

* Сродство Хладниевых линий с линиями землетрясений уже, кажется, было выговорено в науке. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

** Описанному у Гофмана 4. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

ся к счетным книгам; неужели остается лишь тосковать при такой работе? - нет! это дело имеет разные значения: один видит за ним лишь жалованье, хлеб для жены и детей, получаемый за честную работу, - и это не дурно; другой, например, фабрикант, землевладелец - оценку своих удач или ошибок; третий - долг гражданский, возможность предотвратить расхищение казны, обличить воровство, подлоги и проч. т. п. Если человек способен присоединить какой-нибудь из этих смыслов к своему делу, то нет следа приходить в отчаяние; судьба человека в руках его.

XIV, XV

Слова! слова! но под словами мысль, а всякая мысль есть сила - действует ли она на другую мысль, приводит ли в движение материальные силы. Неужель наука и искусство напрасно проходят по миру?

Вообразим себе, что в одну несчастную минуту собрались бы высшие и низшие деятели нашего времени и, убедившись в тщете жизни человеческой, т. е. в тщете науки и искусства, общим согласием положили: прекратить всякую ученую и художественную деятельность... Чем бы эта попытка кончилась? во-первых, стало бы на сем свете немножко скучнее, а во-вторых, - такой попытке никогда не удалась. И наука и искусство появились бы вновь, но в каком-либо искаженном виде, ибо нельзя убить стихию человеческого организма, столь же важную, как и все другие стихии, не истребив самого организма. Предположим невозможное: метафизики и схоластики добились до

того, что всякая новая мысль, всякое ученое открытие, всякое художественное произведение преследуются как уголовное преступление; новые инквизиторы жгут Гуса, терзают Галилея, изгоняют Данта. Безусловный нигилизм торжествует. Что ж далее? Может быть, возвратятся свинцовые века, может быть, на время порвется нить, долженствовавшая связать будущего Гиппарха с будущим Ньютоном, Пифагора с Эйлером, Шекспира с Гете, - но ненадолго; живая электрическая сила соединит порванные концы - и закон природы возьмет свое. Мешайте росту растения - оно все-таки вырастет, хоть искривленное и больное; срежьте - пойдет от корня; вырвите с корнем, - появится другое возле и осеменит запустелую почву.

При берегах и на дне озера находят остатки жизни народов без имени; были люди, не знавшие металлов; за людьми эпохи камня - явились люди меди; за людьми меди - люди железа; столетия, может быть, тысячелетия протекли между этими эпохами. Но камнем выделалась медь, медью выделалось железо, железом изваяна если, пожалуй, не Венера Милосская*, то, по крайней мере, Ариадна Даннекераб. Человеку, который проводил долгие дни, оттачивая камень камнем же, конечно, не могло прийти в голову, что его работа - первый шаг для работы древнегреческого или штутгартского ваятеля, как равно для всего того, что мы теперь делаем из меди и железа. Человеку каменного века простительно было бы горевать о тщете человеческой деятельности и о прочих тому подобных унылых предметах; но мы, проследившие работу человека от каменной эпохи до нашей, мы, сознающие святую связь между наукою, искусством и жизнью, мы, могущие исчислить с достаточной вероятностью ту эпоху, для которой наша будет тем же, чем для нас теперь каменная, - имеем ли право предаваться унынию и взывать к бездействию?

Красота - есть ли дело условное? мне кажется, этот вопрос и существовать не может. Вопрос не в красоте того или другого произведения, а в чувстве красоты, в потребности красоты, а это чувство, эта потребность суть стихии, общие всем людям. Что нужды, что китаец любит картину без перспективы или последованием звуков, для нас непонятным, - дело в том, что он любит, что он находит удовлетворение своей потребности изящного. Не за что обвинять китайца - у него одинаковое с нами право любоваться красотой по-своему; одним с нами законом руководится его чувство, - разница лишь в материальном представлении; его взглядом на искусство умалились ли его права на звание человека?

Не за что слишком досадовать и на червя, который съедает "драгоценнейшие строки Софокла"; того действия, которое производил Софокл на современников и которое отозвалось и на нас, червь не подточит!

Да и откуда, с какого потолка нам упала эта теория безусловной красоты - будто бы ныне исчезающей, будто бы когда-то существовавшей? когда же мы избавимся от Посидонов, Фебов и всех статистов языческого мира? эти формы были и прошли, их место должны занять другие, точно так же, как поколения замещаются одно другим, что нисколько не мешает человечеству существовать и шествовать в даль беспредельную. Искусство достигло ли той степени совершенства, за которую бы оставалась возможность лишь повторения одного и того же?.. Нет! и далеко нет! оно не достигло даже

* Чем были изваяны греческие статуи, еще кажется вопросом: в Помпее (63 г. по Р. X.) русским ученым Савенко были найдены (около 1819 г.) хирургические инструменты, сделанные еще из какой-то крепкой меди или из бронзы. Так медленно шло человеческое подвижение (прогресс). См. по сему предмету любопытные исследования Г. В. Струве о химическом анализе древних сплавов, в "Известиях Императорского Археолог. Общества" 1866 г., т. VI, вып. 7 и 8, в статье Лерха, с. 172-182. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

той степени силы, которой владеет материальная Природа. Отчего солнце есть красота для всех? отчего им возбуждается в нас то поэтическое настроение, которое можно назвать пищей души? обаянию солнца предается равно и химик, разлагающий солнечную атмосферу, и живописец, наблюдающий за переливами теней и за неожиданными бликами, и ребенок, выбежавший на луг. А звездная ночь? она наводит думу и на душу простолюдина, для которого звезды - лишь светлые точки на синеве неба, и на душу астронома, измеряющего их плотность, вес и движение. - Отчего искусство не умеет еще говорить тем общим для всех языком, которым говорят солнце, звезды и другие явления

Природы? отчего Рафаэль, Бах, Гомер, Дант – понятны лишь немногим? – Сколько веков работы еще нужно для того, чтобы искусство заговорило языком для всех доступным? – мы видим, как медленно развивается в толпе не только сознание, но даже наслаждение искусством. Толпе еще нужен не Рафаэль, а размалеванная картинка, не Бах, не Бетховен, а Верди или Варламов, не Дант, – а ходячая пошлость. Но одна ли толпа в том виновата? нет ли в самом искусстве чего-то неполного, недосказанного? не требует ли оно новой, нам даже еще непонятной разработки?

Истоцился ли уже источник поэзии, хранящийся в недрах христианского мира? нет! мы еще не нашли ни словесной, ни архитектурной, ни музыкальной формы, которая бы соответствовала этому, все еще новому миру; везде у нас еще проглядывает язычество.

Наукой раздвинулась область фантазии, и материал поэзии приумножился таким богатством, какое не могло и войти в голову Юпитера, хотя бы в ней сидела Минерва. Как бледны и ничтожны все декорации Фебовой колесницы с ее Аврорами, Горами, Фэтонами, хоть, например, пред страницей Гумбольдта, где говорится о солнечных системах, несущихся в пространстве как пыль, гонимая ветром! Что значит движение бровей Зевеса пред Гершелем⁷, когда он, по его собственному живописному выражению, вычерпывал звездные пространства и достигал до звезд, от которых самый свет, на земле не подчиняющийся времени, доходит до нас в течение столетий, тысячелетий, так, что звезда погасла тому уже сто, тысяча лет, а мы еще ее видим. Всякая языческая фантазия (имеющая, не спорю, историческое значение) не бледнеет ли пред этой, поистине поэтической действительностью? Кто же виноват, если поэты не добывают своих сокровищ из новых рудников, не возводят сих сокровищ в художественное создание!.. мы не видим еще и приступа к этой новой художественной деятельности. Следовательно – нечего пока печалиться о Гомерах и Софоклах. Поэзия еще впереди – и в ее мире нет для нас права на отдых и успокоение... недовольно! недовольно!

XVI

Еще раз – не погибает ничто, ни в деле науки, ни в деле искусства; проходят, сокрушаются временем их вещественные проявления, но дух их живет и множится. Правда, не без борьбы достается ему эта жизнь, но самая эта борьба, записанная историею, есть для нас назидание и ободрение на дальнейшее подв?ижение. – Наука выросла в борьбе, и даже посредством борьбы. Разветвление идей – как разветвление растений. Возле здоровых листьев есть как будто больные; возле цветка лилии есть прицветник, – пожелтевший сверток, который бы хотелось сорвать и бросить; пред появлением плода вянут красивые лепестки, – но эти, по-видимому, ненужные придатки, эти будто бы уклонения Природы суть жрана развития...

Мы с трудом можем вообразить себе Галилея, окруженного птоломеистами, которые не верят глазам своим, смотря на спутников Юпитера; на осязательное наблюдение Галилея они отвечают: не может быть более семи планет по той существенной причине, что в теле человеческом только семь отверстий: два уха, два глаза, две ноздри и один рот – итого семь. Мы пугаемся этой нелепости, – нам кажется, что в такой бессмысленной атмосфере наука должна была задохнуться; но не подобные ли нелепости заставили Галилея ближе разобрать дело, поверить самого себя, добыть новые данные для доказательства проповеданной им истины, – не говоря уже о самом Птолемеи и его невольных заблуждениях, без которых, однако, может быть, не было бы ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Гумбольдта, – или, в ущерб общему просвещению, они пришли бы гораздо позже.

Я не буду вспоминать о борьбе, которую должны были вынести Дженнер, Уатс, Фультон⁸ и другие великие подвижники человечества, – не буду вспоминать о том, что систему Линнея⁹, как ныне Дарвина, обвиняли... в безнравственности! вся эта история слишком известна. Я бы желал указать на борьбу, которая, по самому своему предмету, доньше еще мало доступна большинству читающей публики, доселе представляет для науки много вопросов и, между тем, имела решительное влияние на нечто к каждому из нас весьма близкое, – на здоровье. Появилось в мире открытие, с которым пал авторитет древних: наука осмелилась обратиться к положительным, собственным наблюдениям. Здесь первая страница новой физиологии. Я говорю об обращении

крови, о великом по сему предмету труде Гарвея¹⁰, давшем новый, неожиданный толчок анатомии XVII века, толчок, продолжающийся и поныне. В медицине царствовала тогда относительно крови теория Галена¹¹, основанная на неверно сделанном опыте знаменитого пергамского врача, – чего до Гарвея никто не осмеливался и подозревать, не только высказать, на основании того, что "magister dixit"^{*}. Гарвею приходилось бороться с идеальной анатомией, с заветным учением о естественных, жизненных и животных духах, игравшим столь важную роль во всех тогдашних ученых объяснениях^{**}, и на Гарвея восстали не только знаменитейшие, но и ученейшие врачи того времени^{***}. Нельзя и теперь равнодушно читать историю этой ожесточенной борьбы из-за такого, ныне простого и ясного, органического явления. В подобных борьбах – история всякой науки, всякого открытия, всякого смелого исследования. Начинается с отрицания, – за ним идут насмешки, когда не преследование, а потом: "на что это нужно? можно и без того обойтись!" – Венки, пьедесталы и статуи приберегаются лишь для могилы.

Мы указали на пример Гарвея не без умысла; эта история во многих отношениях и назидательна, и отрадна, несмотря на ее грустную обстановку. По ожесточенным нападкам на Гарвея можно бы подумать, что он провозгласил нечто нежданное, неслыханное; но Гарвею принадлежит лишь честь введения этого предмета в науку, честь – приложения к нему рук; обращение крови было замечено прежде Гарвея: это наблюдение встречается, например, в богословской книге

* учитель сказал (лат.).

** Даже Малекранш¹² (1660–1715) объяснил действие вина тем, что оно состоит из духов, весьма своеобразных, тонких и беспокойных. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

*** История между 1598 и 1657 г. сохранила имена противников Гарвея: Примирозия, Паризания, Племпия, Фоллия, имена ныне забытые, но тогда гремящие. Мольер в *Malade imaginaire* ("Мнимом больном") в лице Диафориуса воспроизводит тип противников Гарвея, но в числе их был и Гассенди¹³, ум светлый, которого исследования и доныне уважаются в науке. Правда, Гарвей нашел себе защитника в Декарте¹⁴ (по-тогдашнему Картезий), но и Декарту досталось от Примирозия, отзывавшегося о великом философе-математике с величайшим презрением. Борьба длилась более 40 лет (с 1619), т. е. до тех пор, пока Малпиги¹⁵ (в 1661) и впоследствии Левенгок¹⁶ не навели микроскоп на лягушечьи жилы и этим осязательным опытом не поддержали теорию Гарвея. Гарвей восторжествовал, – это правда, но каково было Гарвею, когда, с одной стороны, в числе его защитников появились Розенкрейцеры¹⁷, на основании его теории принялись за переливание крови из животных в людей и уморили несколько человек, – а с другой Примирозий, в порыве бессильного ожесточения, отвечал Гарвею почти так, как говорят теперь Митрофанушки сего мира, когда речь зайдет о свободном труде, о земстве или о гласности и независимости суда: "Старики, – говорил Примирозий, – лечили болезни, нисколько не заботясь об обращении крови, на что ж нам это новое учение? и без него можно обойтись". Я здесь избегаю подробностей; любопытные найдут их в IV томе Шпренгелевой истории медицины, парижского издания 1815 г., с. 85–175. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Михаила Серве¹⁸ 1553*, сожженного Кальвином по обычаю старого доброго времени сжигать автора вместе с его книгами – так, чтобы от человека ничего не осталось^{**}; но еще в 1300 годах это наблюдение довольно ясно выражено в неоконченной поэме "Асерба" сочинения Чекко д'Асколи¹⁹, который заметил уже соединение артерий с венами и различие их функций; Чекко также был сожжен (в 1327 г. во Флоренции) как маг и астролог^{***}. Два раза как будто замирало великое открытие, но в самом деле не замирало, а только зрело в плодотворной почве науки. – Костры действовали покрупнее бедного червя, питающегося древними рукописями; но что же вышло на поверку? – когда библиограф Пенью в 1806 году издал словарь сожженных книг^{****}, Римская канцелярия (конгрегация) воспользовалась этим ученым трудом для пополнения списка книг, которых чтение под анафемою запрещается латинствующим^{*****}. В этом курьезном списке красуется и имя Серве, вместе с именами Декарта, Малекранша, Паскаля, Монтескье, Локка, Канта, не говоря уже о новейших (Альфieri²⁰, "Notre-Dame" Виктора Гюго, даже исторический словарь Булье);

ожидали ль основатели этого списка, что он, в свою очередь, сделается ныне весьма полезным пособием для всякого изучающего историю преступлений латинства?.. Наука как бы не замечает этих мимоходящих явлений, а

* Шпренгель - т. IV, с. 34.

** Заглавие этой книги: "Christianismi restitutio". Флуран (Hist de decouv de la circulatoir du sang. Paris, 1857, p. 154) имел в руках обожженный экземпляр, хранящийся в Парижской публ. библиотеке, вероятно, вырванный из костра кем-либо из последователей бедного Серве. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

*** С. А. Соболевский сообщил мне драгоценный экземпляр этой поэмы венецианского издания in 4J, 1510, того самого, на которое Либри (Hist. d. mathem., 1838, t. II, p. 195, note 2) указывает как на лучшее; здесь находятся на с. 94 (Libro quarto) следующие стихи (мы сохранили правописание подлинника):

Dal cerebro procedano gli nervi
Nasce dal cuore ciascuna artaria
.....
El l'artaria sempre dove vena
Artaria in se adopia ogni via
Per l'una al cuore lo sangue se mena
Per l'altra vacio lo spirito o cuore
.....
El sangue pianese move con quiete.

Т. е. (приблизительно): "От мозга идут нервы; от сердца - каждая артерия; артерия всегда там, где вена (соединяются); артерия совокупляет оба пути (?); через один кровь идет к сердцу, через другой... (?) И кровь движется тихо и спокойно". Настоящее имя Чекко - Стабили. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

**** Dictionnaire des principaux livres, condammes au feu etc., par Peignot. Paris, 1806, 2 vol. in 8J.

***** Index Librorum prohibitorum Qregorii XVI Pont. max. jussu editus. Romae, 1841; Montereali, 1852, in 12J, p. 13.

разве усиливается от этих самых препятствий. Спокойным, ровным, но непрерывным шагом идет она по земле, рассыпая свои милости направо и налево. Зиждательница градов и весей, она поднимается и в чертоги, не обходит и утлой хижины, ни кельи ученого труженика, ни судейской камеры. Всюду она охраняет, живит и укрепляет. И таково свойство ее благодеяний, что они не быстро проходят, как многое в подлунном мире; каждый шаг науки есть новый, деятельный центр, новое солнце, от которого и свет, и тепло, и радуга...

Исчисление все более и более разрастающихся успехов науки обыкновенно прерывается вопросом... так сказать, домашним: а стали ли мы от того счастливее? на этот стародавний вопрос осмелюсь отвечать решительным "да!" с условием: слову счастье не придавать фантастического смысла, а видеть в нем, что есть в самом деле, т. е. отсутствие или, по крайней мере, уменьшение страданий. Наука вернее Гомера дает всякому, сколько кто может взять; она не виновата, если большинство людей совсем не доросло или должно подыматься на цыпочки, чтобы достать рукою ее рот избытия. Но наука, добрая мать, сыплет свои сокровища и на тех, которые еще и не подозревают, что она есть сила сил, а легкомысленно и неблагодарно пользуются ее сокровищами. - Было время, когда ученики Гиппократа²¹ и сам Гиппократ бились тщетно с трехдневною лихорадкой и приискивали против нее сотни различных средств, как ныне мы приискиваем их против холеры. Для того, чтобы хина могла прийти в Европу - Христофору Колумбу надобно было открыть Америку; математические выкладки Евклидов - построили его корабль и направили путь его. Для того чтобы открыть хинин, химия должна была дойти до открытия алкалоидов. И то же встретим - к какому из ежедневных, даже самых мелочных предметов мы ни прикоснемся. Не счастливее ли мы тех, которые рыдали над друзьями, умиравшими, по-видимому, от ничтожной болезни, и в глазах врачей видели лишь недоумение? разве не возвысилась средняя

жизнь в Европе, т. е. не большее ли число лет мы можем и прожить сами, и видеть живыми дорогих нашему сердцу? разве не счастьем считать возможность в несколько минут перемолвиться с друзьями, с родными, отдаленными от нас огромным пространством? сколько семейных тревог, сколько душевных терзаний успокоилось мгновенным словом электричества? роскошь быстрого движения, под защитой от бурь и непогоды, удобство изустного сближения между людьми, возможность без больших издержек присутствовать при великих исследованиях, выводах, торжествах науки, наслаждаться далекими от нас произведениями искусства или Природы - не сделалась ли ныне доступнее большому числу людей? - Но где же в нескольких строках исчислить все добро, разлитое наукою почти во всех пределах земного шара! Дело в том, что с каждым открытием науки одним из страданий человеческих делается меньше - это, кажется, не подвержено сомнению...

Я слышу возражение: а война, говорят мне, а способы истребления людей - добытые у науки же, разве не увеличили массы страданий другого рода, но все-таки страданий?.., возражение сильно, - но, однако, можно ли обвинять науку? можно ли обвинять огонь за то, - что он хотя и греет и освещает, но с тем вместе и производит пожары? Можно ли обвинять и солнце и оптика, если полоумный наведет зажигательное стекло на стог сена, и стог загорится? - Кто виноват, если данные, выработанные наукою, до сих пор лишь в весьма малой степени входят в государственное, общественное и семейное дело? Мы смеемся над китайцами, мы с ужасом указываем, что они предали смерти европейских пленников. Китайцы спроста или с умысла отвечали: "по нашим, как и по вашим законам, смертоубийство есть преступление, подлежащее уголовной казни. Но вы, европейцы, - нелепы, вы наказываете смертоубийцу одинокого, - вы чествуете его, когда он наберет тысячу людей для произведения ряда смертоубийств. Мы не впадаем в такую нелепость". - Можно многое возразить против этой Конфудзиевой диалектики, - хоть, например, праведность и неизбежность обороны от нападающего; но что мы ответим тому, который сказал: любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас? - наши общественные науки не только далеко отстали от естественных, но, сказать по правде, находятся еще в младенческом состоянии. Еще ныне невольно думается, что века пройдут до тех пор, когда мы, наконец, выразумеем и сознаем вполне это неземное внушение, и бессильны мы даже вообразить себе семейное, а тем более государственное устройство, где бы это высокое начало могло быть применимо во всем своем пространстве!..

В науке ли причина войны? наука ли подготавливает ее? нет! наука говорит другое: она нещадно колеблет пьедестал военных подвигов; она доказывает цифрами, что все многосложные причины переселений, войн, набегов, грабежей, вообще насильственного движения народов, как равно и внутренних переворотов, сводятся к одной, основной и весьма прозаической: к истощению почвы, к потребности приискивать другую, более плодородную, - словом, к потребности себя пропитывать. Либих замечает, что, если бы человек мог питаться лишь водою и воздухом, тогда бы не существовало ни насилий, ни неустройств, ни поводов к бесправию, ни рабства или воздвигания одного человека другим; - но человек зависит от почвы; при первом к ней приступе он глух к словам науки; он рассчитывает на вечную плодородность, не дает себе труда исчислить ее питательных сил, беззаботно расходует их, не возвращая отнятого, в нелепом уповании, что его клочок земли неисчерпаем, что земля самая должна восстановить то, что у ней отнято, что, словом, печка сама должна доставать для себя дрова, - и настает минута, когда почва начинает оскудевать; скоро того, чем прокармливались десять человек, едва достает на одного; более сильный или более хитрый, он заставляет остальных девятых работать на себя - и зарождается патрициат, - явление, над которым так долго ломали себе голову метафизики. Плодородный Лациум был покорен голодными римлянами. Слава Помпея куплена истреблением морских разбойников, которые мешали подвозу хлеба; Юлий Кесарь водил полки в Испанию, в Египет, чтобы на чужое награбленное добро продовольствовать римлян хлебом, - в том была вся основа его величия и могущества; папский Рим для той же цели извратил человеческую совесть продажей индульгенций; но ничто не спасло его; невежественный, преступный, в надежде на свою чудодейную силу, он окружил Рим бесплодными пустынями - их не утучнили ни потоки крови, ни зола костров, и Рим сделался плодороден лишь на иезуитов и на разбойников.

В одном отношении Мальтус²² был прав, говоря, что если бы не войны, не моровые поветрия, и проч. т. п., то люди бы заели друг друга. Но положительная наука оправдала провидение против Мальтусова кошунства, и слово, ею выговоренное, не пройдет напрасно. Будет время, и оно не далеко, когда силы ума и тела не будут тратиться на взаимноистребление, но на взаимносохранение; данные, выработанные наукою, проникнут во все слои общества, - и вопрос о продовольствии действительно уподобится вопросу о пользовании водою и воздухом.

Конечно, теперь такого рода успех кажется несбыточной мечтой. Но в XVII веке (1663 г.) англичанин Вустер (marquis Worcester)* напечатал сотню задач (в числе их и о паровой машине), которых разрешение он считал необходимым для блага человечества; тогда смеялись над этими задачами - они казались вне всякой возможности; по справке в недавнее время оказалось, что большую часть этих задач уже разрешила наука, - так, между прочим. Если бы теперь сделать подобное собрание неразрешимых задач, то нет сомнения, что потомки наши стали бы удивляться: что тут находили мы трудного, даже невозможного?

* Его книга "Century of inventions" - библиографическая редкость. Но недавно, 1865 г., вышла весьма любопытная по этому предмету книга: "The life, times and scientific labours of Marquis of Worcester by Henry Dirks". Во второй части перепечатана самая "Century of inventions". (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Скажу на ушко читателю: многие из самых недоступных задач в государственном вообще, в финансовом и семейном быте близки к своему разрешению. Это разрешение зависит от неизвестного человека, который где-то, на чердаке, в Европе или Америке, а может быть и в Азии, дотачивает последний гвоздь, нужный ему для снаряда, которым очень легко будет управляться нечто в роде азростата. Когда этот последний гвоздь будет прилажен, - многое множество вопросов: о войне, о финансах, о торговле, об урожаях и неурожаях - и по другим житейским задачам получат такое благополучное разрешение, которого мы теперь и вообразить себе не можем.

Но опричь этого гвоздя есть много и других недоконченных гвоздиков, которыми следует заняться... следственно, опять та же песня: недовольно! недовольно! <...>

XVIII

К тому же Россия не без врагов! хмурится на нас завистливый Запад. Не по сердцу ему наше новое подв?женье. И прежде он частью боялся нас, частью завидовал. Но теперь, когда уже нельзя нас упрекнуть ни в обожании рабства, ни в строгости наказаний, ни в отсутствии земской самостоятельности, ни в господстве произвола и самоуправства... когда зреют в нас и нравственное чувство, и сознание человеческого достоинства, и материальные силы, когда крепче... сплотилось наше единство, - трусливая ненависть Запада в крайних его органах, в этом сопряжении невольного невежества и сознательной лжи, доходит до истинного безумия. Разумеется, не забывается старое. По-прежнему является на сцену нелепая фабрикация парижской полиции, известная под названием "завещания Петра первого", на которое указывается, как на неоспоримое доказательство нашего неуклонного намерения завоевать всю Европу и истребить в ней просвещение *. По-

* Это говорится не в шутку, не в карикатурных журналах, но с высоты и парламентских кафедр. - История этого подлога довольно любопытна. Извлечение из мнимого завещания Петра I появилось впервые в книге под названием: "Des progres de puissance russe depuis son origine jusqu'au commencement du XIX siecle, par L**"; 1 vol. in 8J, Paris, chez Fantin, libraire, Quai des Augustins, 1812. По году издания видно, что она издана в ту минуту, когда Наполеон-Бонапарт вторгнулся в Россию. Хитрому корсиканцу, не разборчивому на средства, нужно было отвести, глаза особенно Англии, и для того взвести на Россию небылицу. Сочинитель этой книги - Ленуар²³, французский полицейский литератор. Знаменитый подлог находится в примечании к стр. 176 по 179 и начинается словами: "уверяют, что существует (On assure

qu'il existe..."); подлог был сделан так поспешно, что независимо от других промахов Петра I-го заставляют называть свою армию - азиатскою ордою (ст. 14) и даже православных греков - схизматиками (ст. 12). Но для Запада это все нипочем; извлечение (resume, стр. 176) перешло, но уже в виде подлинного завещания, в многочисленные книги и книжонки и распространилось на всем Западе. Достойно внимания, что по непонятным причинам все издания, в которых находилось это мнимое завещание, тщательно запрещались - в России, так что для русских писателей не было возможности ни добраться до текста этого документа, ни разъяснить подлог. Между тем эти издания по временам учащались на Западе, в особенности пред Крымской войной, и вера в подлинность этого завещания так утвердилась благодаря нашему постоянному безмолвию, что во время войны один "благородный" лорд в английском парламенте указывал на это мнимое завещание, как на ясный повод к нападению на нас; это указание не осталось без действия не только на общественное мнение в Европе, но и на самое решение парламента. Подробности этого позорного подлога описаны в особой брошюре г. Берхгольца, библиотекаря императорской публичной библиотеки, поднявшего груды книг для разъяснения этого дела. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

прежнему повторяются все возможные о нас анекдоты, основанные на невероятном историческом и филологическом, и географическом, часто искусственном невежестве.

Есть на Западе город-памятник²⁴, - памятник насилия, грабежа, гнета, всех родов человеческого самоуправства и уничтожения; в древности там ковались цепи на целый мир; но времена переменились; занесло песком следы рабской крови, пролитой на потеху патрициев; на этом песке устроилось новоязыческое капище: здесь иезуитизм открыл свою торговлю; его товар - человеческая совесть; здесь он покупает, продает и променивает веру, правду, свободу совести, словом, все, что есть на земле святого; здесь дистиллируются тонкие, для всего мира, яды; смрадный туман подымается от треножника преступной лаборатории; в этой душной среде бродят позорные тени; здесь изуверы призывают благословение божие на отравленные кинжалы; здесь иезуиты с шляхтою обмениваются поцелуями; полумертвый командир латинства, в бессильной злобе на нас, вместе с женолюбивым кардиналом канонизирует изверга Кунцевича²⁵; из-под кардинальской рясы сыплются мириады лжей, сплетен, иезуитов, иезуиток и стараются облепить славянское племя, разорвать его связи и задушить его. И в Россию проникает тлетворный туман и... находит Иванушек, Репетиловых, княжен Зизи, Мими...

Неужели на все это мы должны смотреть сложа руки, уныло повторяя: довольно! неужели должна замолкнуть наша сатира, которая испокон века не переставала на Руси выговаривать свое крепкое и умное слово.

Но интриги Запада нам не страшны: нам не впервой отправлять к нему свинцовый ответ, который всегда оказывался весьма удовлетворительным. <...>

Но солнце не без пятен и в семье не без уroda... Вокруг великого дела, свершающегося в России, стоят Митрофанушки, Простаковы, Скотинины; с досадным изумлением смотрят они на тружеников и думают думу крепкую... Было бы ошибочно предполагать, что Простаковы и Скотинины вымерли и духа их не стало - они все живехоньки, только умылись и принарядились... Митрофанушка съездил в Париж, воротился в пиджаке и гневается на мировых, что заставляют его платить долги портному; Простакова по-прежнему "мастерица толковать законы", зато она в кринолине и с великолепным шиньоном; Скотинин натянул макинтош и жестоко обижается внесением своего имени в список присяжных; Вральман развивает, по Гегелю, теорию олигархического нигилизма, - но они все те же; те же в них полубарские затеи, и те же рассуждения и поползновения; они все ждут, поджидают - (а в сторонке и Правдин) ждут... нового Фонвизина; ждут того, кто мимоходом, на завтраке у предводителя²⁶, но так верно подметил разные виды нашего феодального безобразия... Какое безграничное поле для комика! - неужели он скажет: довольно!

Не беда, что мы стареемся... и в последние минуты мы не скажем России, как гладиаторы римскому кесарю: "умирая, мы с тобою раскланиваемся"*; но припомним хоть нашего славного армейского капитана Никитина**, как он, замученный повстанцами, издыхая в предсмертных муках, собрал последние силы и смело, пророчески погрозил ослабевшей рукою мятежной шляхте. - Будущее впереди, а между тем, с Божиею помощью, даже стоя одною ногою в могиле, -

хоть бы нам погрозиться на внешних и внутренних врагов России... авось вразумятся! - go a head! never mind, Prelp yourself! что по-русски переводится: "брось прохладушки, неделанного дела много".

31 декабря 1866 г.

* Morituri te salutant.

** Какой превосходный предмет для наших живописцев. Когда же покинут они и Харонов и Меркуриев - или перестанут выбирать самые грязные черты из нашего быта? Сколько высокохудожественных задач в разных сценах после 19 февраля 1861! Кто не знает совсем готовую "картинку" Майкова, начинающуюся словами:

Посмотри: в избе, мерцаая,
Светит огонек;
Возле девочки-малютки
Собрался кружок;
И с трудом, от слова к слову,
Пальчиком вода,
По печатному читает
Мужичкам дитя.

Сколько материалов в разных эпизодах шляхетского мятежа, в фигурах повстанцев, фанатических шляхтенков, коварных ксендзов, иезуитов, добродушных мужичков... Наконец, почти из вчерашних событий - совещание в Ватикане о канонизации Кунцевича, столь полное комизма: в ином роде - битвы критян, аркадийский монастырь, русские матросы с малютками греками и набор турками ложных депутатов от Крита: отправка турецкого корабля, будто бы для спасения критских семейств; наши сородичи галичане в когтях иезуитов... Неужели все эти разнообразные сцены, доступные и трагической и комической кисти, будут обойдены нашими живописцами - или мы предоставим западным живописцам изображение мнимого геройства шляхтичей и небывалого зверства русских? Было бы стыдно! (Прим. В. Ф. Одоевского.)

< Беседа В. Ф. Одоевского с Шеллингом >
(Запись в путевом дневнике)

Берлин, 26 июня 1842 г.

Был у Шеллинга. Наш разговор (частью по-немецки, частью по-французски, Шеллинг охотно говорит по-французски, кажется, с целью приучиться к употреблению этого языка):

Я. Издания ваших сочинений ожидают с нетерпением.

Шеллинг. Очень жалко, что до сих пор не имел времени окончить [моих трудов].

Я. Это тем более нужно, что Гегелева философия приводит многих к бездне отрицания и никого не удовлетворяет.

Шеллинг. Гегель имеет много последователей в России?

Я. Довольно.

Шеллинг. Эта философия уничтожает всякое реальное знание.

Я. Что вы думаете о St. Martin*?

Шеллинг. Много прекрасного и глубокого, но мне кажется, что многое у него не оригинальное, но заимствованное. В России много его последователей?

Я. О нет.

Шеллинг. По крайней мере так было в высшем обществе.

Я. Но не теперь. Ко мне он попался по библиомании, как редкость, читая, я был поражен сходством с вашими мыслями, хотя c'est tout autre chose*.

Шеллинг. Да! Это сходство действительно существует? много отдельных глубоких мыслей, но это не философия в собственном смысле. До сих пор много существует его последователей под именем мартинистов.

Я. Извините, если не ошибаюсь, этим именем называются последователи Мартинеца де Пасквалец2, учителя St. Martin,

* это совсем другое дело (франц.).

теурга, от которого St. Martin отделился, почитая опасными его теургические материальные операции.

Шеллинг. Вы мне открываете факт, совершенно для меня новый, я вам очень благодарен за это. Я читал не все сочинения Сент-Мартена [именно потому, что у него есть сходство] и это обстоятельство упустил из вида; до сих пор я смешивал Сент-Мартена с Мартинцем.

Я. Что вы думаете о Баадере?

Шеллинг. Этот человек был в противоречии с самим собою; он имел несколько оригинальных мыслей и был интересен на первые две-три встречи, а потом повторял все одно и то же; между тем, его общественная жизнь мало согласовалась с его учением; он был сперва в обществе розенкрейцеров, в Баварии, не отличающихся строгою нравственностью, и в нем нечто осталось от них; во время Венского конгресса он адресовался ко всем государям и просил денег, представляя свой план сочинения в пользу христианства; один ваш Александр обратил на сие внимание, и при пособии г-жи Эльбинг Баадер во всю жизнь Александра получал пенсию, хотя весьма неаккуратно. Он ездил в Россию, но в Риге получил повеление возвратиться и был здесь в Берлине в большой крайности...

Я не хотел далее тревожить его и позвал его завтра обедать к себе, как время наиболее свободное для него.

- Очень рад, но кто у вас будет?

- Я, жена и, может быть, М.4

- Какой М.? Послушайте, я скажу вам откровенно - с вами я буду совершенно откровенен, но М. написал весь разговор со мною, разговор tres familier*, потом напечатал, а с него перевели на немецкий - зря, ничего не читал подобного. Точно, уверяю вас.

- Ну, так за обедом будет только жена и я.

- А! Прекрасно.

Сильное религиозное брожение. Die Fremden ** требуют гражданского брака и гражданской присяги на том основании, что все секты в Пруссии допускаются. Савиньи⁵ не знает, что делать с прусскими законами. Король хочет слить воедино все различных провинций узаконения, против чего провинции вооружаются - от этого одного ожидают собрания Генеральных шта<тов>.

Нерешительность короля.<...>

Король выписал Шеллинга, чтобы противопоставить его

* неофициальный (франц.).

** чужестранцы (нем.).

влиянию гегелизма, обращающегося, по мнению короля, в материализм. Ему приписывают мысль отделить иудеев совершенно от общества, яко народ исторический. <...>

Оппозиция против духовенства весьма сильна. Один профессор теологии вовсе не ходит в церковь, и причину сказывают совершенно немецкую: что он целую неделю занимается телеологией и что <в> воскресенье он хочет чем-либо другим развлечься. Вообще они говорят, зачем ходить в церковь: богословскими предметами занимаются люди более сведущие, нежели пасторы. - Русские говорят: все это оттого, что у лютеран нет обедни. Шеллинг стар, а то, верно бы, перешел в православную церковь. Он обедал у меня. Мы были вдвоем. Известие о Мартинце де Пасквалец весьма, видно, его заинтересовало. Он еще переспросил меня. "Чудное дело ваша Россия, - говорил он, - нельзя определить, на что она назначена и куда идет она, но к чему-то важному назначена". Мы опять перешли к богословским предметам. Он заметил, что молятся Сыну, чтобы Он упросил Отца о ниспослании Духа Святого; но нет молитвы к Духу Святому. Я напомнил о замечательном выражении Апостола Павла "Христос в нас". "Да! - сказал Шеллинг, - именно потому и надобно молиться, чтобы Христом, в нас находящимся, вызвать Христа ипостасного; без сего понятия молитва - высочайший акт души человеческой - невозможна; как скоро не предполагают действительного непосредственного

сношения между Богом и человеком, молитва делается невозможностью; я уверен, - прибавил он, - что все, чего человек будет сильно просить, ему дается". Речь перешла к магнетизму; магнетизм, говорил Шеллинг, не есть ни возвышение духа, ни уничтожение до инстинкта, мы не можем определить, что такое магнетизм, пока мы не узнаем, что такое сон, или, лучше сказать, где мы бываем во сне, а мы где-то бываем, ибо оттуда приносим новые силы. Когда мне случится что-нибудь позабыть, мне стоит заснуть хоть на пять минут, и я вспоминаю забытое.

Я заметил, как необходимо именно в настоящую эпоху распада выговорить ему последнее слово. "Чувство это в полной мере и потому решил кончить мою работу - *coute que coute* *.

На мою молодость он заметил, что, несмотря на нее, видно, что я много думал о предметах глубоких, "это остается в глазах и есть такой верный признак, которого никак подделать нельзя".

Шеллинг нарочно начал свой курс *a la Philosophie d Offenbarung***, ибо это дало ему повод просмотреть все систе-

* любой ценой (франц.).

** философия откровения (нем.).

мы и, следовательно, коснуться всех гегелевских положений. В первый курс студентов было 350 человек, на второй нынешний 1842 только 60, но зала всегда полна, Шеллинг на лекциях говорит совсем не так, как в обыкновенном разговоре. На лекции он произносит слова медленно, отделяя каждое слово, как бы диктуя. Имя Гегеля он никогда не произносит, но употребляет выражение, выговариваемое им с особенным акцентом, *eine Pseudophilosophie**. Но между молодым поколением Гегель весьма силен, но таланта в этой партии нет; Вердераб, лучшего в этой партии, называют профессором-актером. Между тем, оппозиция цитирует хронологическую ошибку Шеллинга, сказавшего на лекции, что Яков Бём⁷ много заимствовал из Спинозы⁸; также фразу Шеллинга, что с точностью определенный положительный факт важнее всей философии Гегеля. Это заявление чрезвычайно скандализовало гегелистов, но едва ли можно отрицать его основательность. Между тем, в берлинских "Вицах"^{***} подсмеиваются и над гегелистами и над шеллингианцами. Сцена в кофейной: *Negelianer. Negelische Philosophie ist... Garcon (с подносом). Ein Glas Eis... Schellingianer. Garcon! Offenbaren Sie mir ein Glas Punsch***...*

* псевдофилософия (нем.).

** Немецкое слово *Witz* - анекдот. (Прим. *ImWerden*).

*** Гегельянец. Гегелевская философия есть... Официант (с подносом). Один бокал мороженого... Шеллингианец. Официант! Приобщите меня к откровению бокала пунша... (нем.).

КОММЕНТАРИИ

В примечаниях использованы разыскания П. Н. Сакулина, авторов комментария к академическому изданию "Русских ночей", Г. Г. Бернандта, М. А. Турьян и других исследователей.

ЗАМЕЧАНИЯ НА СУЖДЕНИЯ МИХ. ДМИТРИЕВА О КОМЕДИИ "ГОРЕ ОТ УМА"

Впервые - "Московский телеграф", 1825, ч. 3, № 10, май. Печатается по тексту журнальной публикации.

1 Дмитриев Михаил Александрович (1796-1866) - поэт и критик, сторонник классицизма, печатавший свои статьи в "Вестнике Европы" под псевдонимом Юст Веридиков. Одоевский полемизирует с его статьей "Замечания на суждения "Телеграфа" ("Вестник Европы", 1825, № 6).

Хотя ко времени полемики вокруг комедии Грибоедова были опубликованы (в альманахе "Русская талия" 1825 г.) лишь третий ее акт и несколько сцен из первого, тогдашние ее критики и многие читатели уже ознакомились с полным текстом "Горя от ума", распространившимся в многочисленных списках. Однако Одоевский узнал текст от самого автора еще раньше, до появления

рукописи, и, более того, сам наблюдал за работой Грибоедова, выслушивая очередные сцены в авторском чтении. То было время теснейшего дружеского и творческого общения молодого любомудра с автором "Горя от ума". Даже вечный его враг Булгарин признавался в частном письме: "Об Одоевском слышу тьму хорошего от Грибоедова..." ("Русская литература", 1971, К 2, с. 115). Одоевский потом вспоминал о Грибоедове: "Он принимался за перо лишь тогда, когда уже решался больше не переменять. Он мне читал почти все "Горе от ума", когда еще ни одного стиха не было записано на бумаге, - ибо некоторыми сценами он был еще недоволен" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие, с. 374). Грибоедов прочитал статью Одоевского, но был недоволен самим тоном и уровнем спора вокруг его комедии и писал автору: "Хотя ты за меня подвизаешься, а мне за тебя досадно. Охота же так ревностно препираться о нескольких стихах, о их гладкости, жесткости, плоскости; между тем тебе отвечать будут и самого вынудят за брань отплатить бранью. Борьба ребяческая, школьная. Какое торжество для тех, которые от души желают, чтобы отечество наше оставалось в вечном младенчестве!!!" (Грибоедов А. С. Соч. в 2-х т., т. 2, с. 246). Действительно, многое в этой полемике имеет чисто исторический интерес, однако суждения Одоевского о значении "Горя от ума", о Чацком, о разговорном слого комедии были первым серьезным печатным откликом на ее появление, невольно совпали с мыслями знаменитого письма Пушкина А. А. Бестужеву (конец января 1825 г.) и предвосхитили идеи позднейших классических статей Белинского и И. Гончарова о комедии Грибоедова.

2 "Абдериты". - Имеется в виду "История абдеритов" (1781), сатирический роман-утопия немецкого писателя-просветителя К. М. Виланда (1733-1813).

3 Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703-1768) - русский писатель и переводчик, теоретик литературы, бывший для молодого Одоевского образцом сухого педанта. Позднее писатель критиковал Тредиаковского в повести "Княжна Мими".

4 Крутон - так в русском переводе комедии Мольера "Мизантроп", сделанном драматургом Ф. Ф. Кокошкиным, был назван ее главный персонаж Альцест.

9 ...кто-то в "Сыне отечества" сказал... - Имеется в виду полемическая статья критика О. М. Сомова, направленная против статьи М. А. Дмитриева.

6 ...издатель "Телеграфа" - Полевой Николай Алексеевич (1796-1846), журналист и прозаик, близкий в то время к кружку любомудров.

ПАРАДОКСЫ

Впервые - "Московский вестник", 1827, ч. 2, К 6. Печатается по тексту журнальной публикации.

Мысли этой статьи Одоевского близки к идеям кружка Грибоедова и Шаховского. Иногда суждения молодого критика совпадают с высказываниями знаменитого грибоедовского письма 1825 года Катенину - ср. пункт 17 статьи Одоевского и слова Грибоедова: "Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий" (Грибоедов А. С. Соч. в 2-х т., т. 2, с. 239-240).

1 Шаховской Александр Александрович (1777-1846) - поэт и драматург, в театральном салоне которого бывал молодой Одоевский.

<ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ>

Впервые полностью - "Русские эстетические трактаты", т. 2. М., 1974. Отдельные записи в сокращении опубликованы в монографии П. Н. Сакулина. Печатается по тексту "Русских эстетических трактатов", т. 2.

1 Гельвеций Клод-Адриан (1715-1771) - французский философ-просветитель.

2 ...описание дня одного человека бывает интереснее романа. - Об этой идее говорится и в начале повести Одоевского "Новый год" (1831).

3 ...произведения человека, умом возвышенного, выше. - Типичная для просветителя Одоевского мысль о превосходстве образованного таланта над

необразованным. В одной музыкальной его статье сказано: "Продышать народную фантазией - дело великого таланта. Пушкин, Мих. Ив. Глинка - без сомнения народные художники; огромная начитанность в Пушкине, глубокое знание музыкальной техники в Глинке нисколько не повредили их народной своеобразности" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие, с. 372).

4 "Бова Королевич" - популярная в народе лубочная повесть, интересовавшая многих русских писателей, и в частности Пушкина, в молодости начавшего писать своего "Бову" и видевшего в этой старинной сказке интереснейшую филологическую проблему.

5 Готтентот - африканец.

6 Венера Медицейская - знаменитая античная статуя, копия утраченной работы Праксителя, хранящаяся в галерее Питти (Флоренция).

7 ...музыка есть высшая наука и искусство. - Этой идеей проникнуты повести Одоевского о Бахе и Бетховене (см. мои примечания к ним в 1-м томе сочинений 1981 г.) и его музыкально-критические работы. В одном его частном письме середины 50-х годов сказано: "Музыка - единственное из искусств, которое, как известная цифра, входит в икс, называемый русскою народностью. Бог отказал нам и в живописи, и в архитектуре, и сама поэзия наша существует только при милости музыки, образовавшей даже и гармоничность нашего языка... Она (музыка. - В. С.) все-таки единственная щелочка, сквозь которую можно заглянуть в русскую душу" (Цит. по кн: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева, т. 1, кн. 2. М., 1889, с. 102).

8 "Классицизм и романтизм". - Мысли этого отрывка перекликаются с идеями статьи "Пушкин". Литература классицизма, как и философия просветителей, виделась писателю сухой и рассудочной, царством губящего всякое творческое вдохновение расчета, и он говорил о ней: "В старой литературе, как в старых садах, нет ничего лишнего, ничего забытого, ничего неожиданного, воображение подчинено ватерпасу, - люди, обращенные в камень, деревья, обращенные в стены, - это подобие смерти: камни, стены, статуи и безнадежность" (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 54, л. 99-7).

9 Шатобриан Франсуа Рене (1768-1848) - французский писатель.

10 Бетховен был для Одоевского символом нового свободного искусства, чисто романтическим гением, ведомым к высочайшим прозрениям силою страстей и непосредственного вдохновения (см. повесть "Последний квартет Бетховена"),

<ДВЕ ЗАМЕТКИ О ГОГОЛЕ>

Впервые - сборник "Н. В. Гоголь. Исследования и материалы", т. 1 (М. - Л., 1936). Печатается по тексту сборника.

Одоевский один из первых заметил и сумел оценить талант Гоголя при его появлении на литературном поприще. В 1831 году он писал Любомудру А. И. Кошелеву: "На сих днях вышли Вечера на хуторе - малороссийские народные сказки. Они, говорят, написаны молодым человеком, по имени Гоголем, в котором я предвижу большой талант: ты не можешь себе представить, как его повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что донныне издавали под названием Русских романов" (Труды кафедры литературы Львовского гос. ун-та, вып. 2. Львов, 1958, с. 72). Вскоре состоялось и личное их знакомство. Погодин свидетельствовал, что Гоголь появлялся в салоне Одоевского. Известно, что он участвовал в издании "Пестрых сказок". В 1838 году Одоевский писал критику М. А. Максимовичу: "Я печатаю... с Гоголем "Двойчатку", книгу, составленную из наших двух новых повестей" ("Киевская старина", 1883, т. 5, апрель, с. 846). Издание этого альманаха, равно как и "Тройчатки" с участием Гоголя и Пушкина, не состоялось, но сам его замысел говорит о дружбе и совпадении творческих исканий обоих прозаиков. В 1836 году Одоевский считал, как это следует из его письма Н. Н. Пушкиной, необходимым написать статью о гоголевском "Ревизоре". Сохранился фрагмент, где говорится о комедии: "У Гоголя вырвалось в Хлестакове (как и во многих других местах) замечательное психологическое наблюдение. Хлестаков пишет к Тряпичкину: "Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться". Это совершенно в характере Хлестакова, ибо он фантазер, разумеется, в [мелкой] низкой сфере, но фантазер, - и вся беда, что у него, как у Дон Кихота, нет царя в голове, как заметил Гоголь" (ОР ГПБ, ф. 539,

оп. 1, пер. 65, л. 26). Это и есть, по-видимому, отрывок незавершенной статьи 1836 года о "Ревизоре". Одоевский считал писателя несравненным стилистом, создателем особого языка и не раз хвалил "живой", гениальный слог Гоголя" ("Отечественные записки", 1840, т. 12, с. 21).

1 Первая заметка о Гоголе предположительно датируется 1836 годом.

Вторая заметка - запись Одоевского на книге отставного генерала Николая Борисовича Герсеванова (1808-1871) "Гоголь перед судом обличительной литературы" (Одесса, 1861). Книга генерала-консерватора представляет собой пасквиль на великого русского писателя.

О ВРАЖДЕ К ПРОСВЕЩЕНИЮ, ЗАМЕЧАЕМОЙ В НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Впервые - "Современник", 1836, т. 2. Печатается по тексту собрания сочинений 1844 года.

В рукописи есть помета: "Ревель. 1835. Июль" и эпиграф из "Горя от ума": "О господи! Когда ж исчезнет этот дух пустого рабского слепого подражания!"

Статья относится ко времени участия В. Ф. Одоевского в пушкинском журнале "Современник". Пушкин, прочитав статьи писателя, сообщал ему: "Думаю 2 К начать статью вашей, дельной, умной и сильной - и которую хочется мне наименовать "О вражде к просвещению"; ибо в том же К хочется мне поместить и разбор "Постоялого двора" под названием "О некоторых романах". Разрешаете ли вы?" (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 10, с. 444-445). Статья Одоевского направлена против его и Пушкина злейших врагов, и прежде всего против Булгарина, сочинявшего псевдоисторические романы. В статье задеты также Греч и Сенковский.

1 Эпиграф из исторической драмы писателя Михаила Петровича Погодина (1800-1875), друга Одоевского.

2 Коцебу Август фон (1761-1819) - реакционный немецкий писатель.

Дюкре-Дюмениль (1761-1819) - французский писатель, автор популярных тогда нравоучительных романов.

3 ...наши так называемые сочинители... - Имеются в виду Булгарин, Греч и другие прозаики, обращавшие тогда к исторической теме и черпавшие свои сюжеты из "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина. В одной заметке Одоевского говорится о них: "Вальтер Скотт внес роман в историю; его подражатели, особенно русские, внесли историю в романы" (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 54, л. 294).

4 ...кабинетные труды ученого... - Имеются в виду Ш. Фурье и другие утопические социалисты.

5 ...произведения мрачного гения... - Имеется в виду Байрон.

6 ...примеры Фонвизина, Капниста, Грибоедова... - Имеются в виду их сатирические комедии, о которых Одоевский писал в одной заметке: "Русская литература оказала правительству и публике четыре услуги, а именно: "Недоросль", "Ябеда", "Горе от ума" и "Ревизор" (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 55, л. 179). Позднее к этому списку писатель добавил пьесу А. Н. Островского "Банкрот".

7 ...щечатся... - пользуются, заимствуют.

8 Шампольон Жан-Франсуа (1790-1832) - французский ученый-египтолог.

Шеллинг Фридрих-Вильгельм (1775-1855) - немецкий философ-идеалист, знакомый Одоевского.

Гегель Георг-Фридрих-Вильгельм (1770-1831) - немецкий философ-идеалист, противник Шеллинга.

Гаммер-Пургшталь Иозеф фон (1774-1856) - австрийский востоковед и дипломат. Его и Шампольона теории подверглись насмешкам О. И. Сенковского.

9 Робеспьер Максимилиан (1758-1794) - глава якобинцев, один из вождей Великой французской революции.

10 Вы ювелир, месье Жосс. - Слова Станареля, персонажа комедии Мольера "Любовь-целительница" (акт 1, явл. 1). Реплика эта полна иронии, ибо обращена к ювелиру, пытающемуся "пристроить собственные изделия". Приводя эти слова, Одоевский указывает на чисто коммерческий характер беспринципной деятельности Булгарина и Сенковского в сфере литературной критики.

11 Кок Поль де (1793-1871) - французский беллетрист.

12 Деви Гэмфри (1778-1829) - английский ученый и изобретатель.

КАК ПИШУТСЯ У НАС РОМАНЫ

Впервые - "Современник", 1836, т. 3. Печатается по тексту журнальной публикации.

Одоевский дал в автографе этой статьи разбор романов А. П. Степанова "Постоялый двор", И. Калашникова "Дочь купца Жолобова" и Ф. Массальского "Пан Подстолич". Однако Пушкин-редактор убрал ссылки на эти романы и оставил в статье одни "общие суждения", теоретическое воззрение на развитие жанра романа.

1 Апофегмы - изречения.

О НАПАДЕНИЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЖУРНАЛОВ НА РУССКОГО ПОЭТА ПУШКИНА

Впервые - "Русский архив", 1864, К 7. Печатается по тексту журнальной публикации.

Одоевский, как писатель пушкинского круга, считал своим долгом защитить великого поэта от журнальных нападок триумвирата его злейших врагов - Булгарина, Полевого и Сенковского. Статья была предложена редакциям журналов "Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" и "Московский наблюдатель", но нигде не могла быть напечатана: журналисты боялись наветов влиятельного Булгарина. После гибели Пушкина Одоевский использовал исправленный текст этой статьи в своей рецензии на пятый том посмертного пушкинского "Современника" (см. сборник: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М.-Л., 1956, с. 313-320; публикация Р. Б. Заборовой), но и рецензия не была тогда опубликована.

Защита памяти и наследия великого русского поэта стала одной из центральных тем критики и публицистики писателя. В уничтожающей рецензии на "Чтения о русском языке" Н. И. Греча Одоевский писал: "Имя Пушкина стоит так высоко, что до него толки издателя "Северной пчелы" не могут достигнуть" ("Отечественные записки", 1840, т. 12, с. 49).

1 "Северная пчела" - петербургская политическая и литературная газета, в 1825-1859 годах издававшаяся Ф. В. Булгариным. Тираж газеты доходил до 10 000 экземпляров.

2 ...к статье П. М-ского... - Имеется в виду драматург и журналист Петр Ильич Юркевич (ум. 1884), печатавшийся в болгаринской газете под псевдонимом "П. Медведовский". Был знаком с Пушкиным, встречался с ним на "четвергах" Н. И. Греча. Юркевичу принадлежит ряд статей против Пушкина.

3 ...некоторые статьи... - Имеются в виду полемические статьи и памфлеты Пушкина, направленные против Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча и Н. А. Полевого.

4 Орлов Александр Анфимович (1791-1840) - поэт и прозаик, автор полулубочных повестей и романов для простого люда, часть из которых была написана как пародийное продолжение болгаринских романов о Выжигине. Пушкин иронически соединял имена Орлова и Булгарина в своих памфлетах "Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов" и "Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем".

5 Сенковский Осип-Юлиан Иванович (1800-1858) - ученый, писатель и журналист, издававший популярный журнал "Библиотека для чтения", где печатались вначале и пушкинские произведения, и повести Одоевского. Был известен своей литературной беспринципностью.

6 ...некто... - Сенковский, еще до выхода первого тома пушкинского "Современника" обвинивший поэта в намерении полемизировать с "Библиотекой для чтения".

7 ...имена Шеллингов, Шампольонов и Гаммеров... - В рукописи статьи к данной фразе сделано следующее, не напечатанное в "Русском архиве" примечание: "Намек на журналы братства, и в особенности на тогдашнюю "Библиотеку для чтения", где ныне уже невероятный и невообразимый шарлатанизм истощал свои силы, в особенности против Шампольона и Гаммера, потому более, что дело было темное, доступное для весьма немногих, а между тем совершалась воочию басня Крылова о слоне и москье. Под влиянием общего страха, навводимого фалангою дружных журналов, никто не поднимал голоса

против шарлатанства; лишь живший тогда в Петербурге французский ориенталист Шармуан, немного понимавший по-русски, осмелился, и то в особой брошюрке и на французском языке, вступить за Гаммера, говоря о так называемых критиках "Библиотеки для чтения": "Que c'est gros Jean qui veut demontrer a son cure" (перевод: "что это грубый Жан, который хочет поучать своего священника", пословица, соответствующая русской: "Яйца курицу не учат"). Но эта брошюрка была прочтена немногими. Н. И. Греч, державшийся поодаль от всех этих дразгов, также, наконец, не выдержал и неоднократно выводил на свежую воду полонизмы г<осподина> Сенковского и его изумительную претензию свое безграмотство выдавать за новооткрытые им законы русского языка" (Пушкин. Исследования и материалы, т. 1, с. 318-319).

8 ...объявляют себя переправщиками... - Имеется в виду Сенковский, безжалостно переделывавший не только статьи и рецензии, но и художественные произведения, помещаемые им в "Библиотеке для чтения".

9 "<Ученое> путешествие на Медвежий остров" (1833) - повесть Сенковского, высмеивающая научные гипотезы Шампольона и Кювье.

10 Один глубокомысленный господин... - Скорее всего имеется в виду шеф жандармов А. Х. Бенкендорф (1783-1844), покровительствовавший Булгарину, Гречу и Сенковскому.

11 Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1844), Рунич Дмитрий Павлович (1778-1860), архимандрит Фотий (1792-1838) - русские консервативные государственные деятели, известные своими гонениями на профессоров и университеты.

12 Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781) - немецкий критик.

<ПУШКИН>

Впервые - сборник "Пушкин. Исследования и материалы", т. 1. (М. - Л., 1956, с. 333-336). Публикация Р. Б. Заборовой. Написано в конце 30-х годов. Одоевский продолжает здесь спор с хулителями великого русского поэта, начатый в статье "О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина".

1 Берда - деталь ткацкого станка, род гребня, в зубья которого вдеты нити.

2 ...картина Рафаэля... - В Эрмитаже было несколько картин этого художника.

3 ...о высшем произведении высшего на земле события... - Здесь мысли Одоевского явственно перекликаются с идеями его знакомого, философа П. Я. Чаадаева, писавшего: "Способность к творчеству была дарована человеку только в области искусства: вот где настоящая область его творчества, единственный мир, в котором ему дано из небытия создавать нечто реальное, вызывать жизнь актом воли. Вне этого мы можем лишь искать и подчас находить реальное" ("Русские эстетические трактаты первой трети XIX века", т. 2, с. 637).

4 Бахчисарайский фонтан... - Имеется в виду поэма Пушкина, вышедшая в 1824 году отдельным изданием с полемическим предисловием П. А. Вяземского и вызвавшая ожесточенные споры между романтиками и поборниками классицизма.

ЗАПИСКИ ДЛЯ МОЕГО ПРАПРАВНУКА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Впервые - "Отечественные записки", 1840, т. 13, с. 5-12. Печатается по тексту журнальной публикации.

1 Пока чувство изящного не будет переведено на язык разума... - Любимая идея Одоевского-любомудра, высказанная им еще в 20-е годы на страницах "Вестника Европы" и "Московского вестника".

2 "Афинская школа" - наиболее известная из ватиканских фресок Рафаэля.

3 Перуджино Пьетро (между 1445 и 1452-1523) - итальянский живописец, учитель Рафаэля; изображен рядом со своим учеником на его фреске "Афинская школа".

4 Клапрот Генрих Юлий (1783-1835) - немецкий ориенталист и путешественник.

5 Кенкет - масляная лампа.

8 Гумбольдт Александр (1769-1859) - немецкий натуралист и путешественник.

7 Лажечников Иван Иванович (1792-1869) - русский исторический романист.

Вельтман Александр Фомич (1800-1870) - писатель-романтик, знакомый Одоевского.

8 Щепкин Михаил Семенович (1788-1863) - выдающийся русский актер.

Каратыгин Василий Андреевич (1802-1853) - знаменитый трагик и драматург, ценимый Одоевским как "славный артист" и "человек с умом и огнем" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие, с. 496).

9 ...с домом Крылова... - неточно цитируется басня "Вельможа и философ" (1815). Крылов был частым посетителем литературного салона Одоевского.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Впервые - "Современник", 1843, т. 32. Печатается по тексту академического издания "Русских ночей" 1975 года.

1 Рихман Георг Вильгельм (1711-1753) - немецкий физик, служивший в России; гибель его от разряда молнии описана Ломоносовым.

2 Гутчесон Френсис (1694-1747) - английский философ.

3 ...в Жанне д'Арк... - Имеется в виду трагедия Шиллера "Орлеанская дева".

4 Хили. - Так в пушкинскую эпоху произносилось название Чили (см., например, дневник морехода Ф. Матюшкина).

5 Курт Жебелин - Кур де Жебелен Антуан (1725-1784) - французский ученый.

6 Пернетти Жак (1696-1777) - французский ученый.

Герметические философы - средневековые алхимики, считавшие себя последователями легендарного египетского мистика и мага Гермеса Трисмегиста, автора так называемых герметических книг ("Пэмандры", "Изумрудной таблицы" и др.). Одоевский, вполне профессионально изучивший химию под руководством академика Гесса, понимал всю тщетность стремлений алхимиков к получению "философского камня", но он ценил их органический метод, умение изучать явление всесторонне, с помощью единой "сверхнауки", не дробя целостное знание о мире на обособленные науки. Писатель говорил: "Ложная теория навела алхимиков на гораздо большее число важнейших открытий, нежели все осторожные и благоразумные изыскания нынешних химиков" ("Русский архив", 1874, кн. 1, стб. 335-336).

7 Галлевы замечания... - Галль Франц-Иосиф (1758-1828), австрийский врач, выдвинувший антинаучную теорию, объясняющую характер человека путем изучения строения черепа.

8 Курье Поль-Луи (1772-1825) - французский публицист.

9 Биша Мари Франсуа Ксавье (1771-1802) - французский врач.

Гердер Иоганн Готфрид (1744-1803) - немецкий писатель и философ.

10 Жиоя - Джойя Мельхиор (1767-1829) - итальянский экономист.

11 Рихтер Иеремия-Беньямин (1762-1807) - немецкий химик.

12 Бомбаст - напыщенность.

13 Кеплер Иоганн (1571-1630) - немецкий астроном.

14 Фориэль Клод Шарль (1772-1844) - французский филолог.

15 Мириолог - погребальная песнь.

16 "Лукреция Баргия" - драма Виктора Гюго (1802-1885).

17 Теренций Публий (ок. 195-159 до н. э.) и Плавт Тит Макций (ок. 254-184 до н. э.) - римские комедиографы.

18 Бульвер Литтон Эдвард (1803-1873) - английский писатель. Имеется в виду его очерковая книга "Англия и англичане" (1833).

19 ...какому-то господину... - французскому экономисту Альбану Вильневу-Баржемону.

20 Софокл (ок. 496-406 до н. э.) - древнегреческий драматург, участник Саламинской битвы.

31 Перикл (ок. 490-429 до н. э.) - древнегреческий политический деятель.

Фукидид (ок. 460-ок. 396 до н. э.) - древнегреческий историк.

22 "Последний человек" - утопический роман английской писательницы Мери Шелли (1798-1851).

23 Гиббон Эдуард (1737-1794) - английский историк.

24 Бентам Иеремия (1748-1832) - английский буржуазный философ-моралист, родоначальник теории утилитаризма. Основу морали Бентам видел в стремлении большинства людей к личной пользе, ограничиваемом благоразумием отдельной личности. Философ бывал в России у своего брата, офицера русской службы. Сохранилось письмо Бентама к Александру I, где он предлагает царю усовершенствовать российское законодательство. Письмо осталось без ответа. Впоследствии учение Бентама породило теорию "разумного эгоизма", столь популярную в среде буржуазных философов-позитивистов второй половины XIX века. Художественная критика идей философа содержится в повести Одоевского "Город без имени" (1839).

<ПРЕДИСЛОВИЕ К "ОПЫТАМ РАССКАЗА О ДРЕВНИХ И НОВЫХ ПРЕДАНИЯХ">

Впервые - Одоевский В. Ф. Соч. ч. 3. Спб., 1844. Печатается по тексту собрания сочинений 1844 года. Датируется предположительно 1843 годом.

Статья эта, наряду с "Опытом безымянной поэмы", является одной из первых у нас попыток теоретического осмысления русского народного творчества. Одоевский был не только исследователем, но и собирателем фольклора.

ОПЫТ БЕЗЫМЯННОЙ ПОЭМЫ

Впервые - Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956. Печатается по этому изданию. Условно датируется началом 1840-х годов и по идеям своим примыкает к "Предисловию к "Опытам рассказа о древних и новых преданиях".

1 Ариосто Людовико (1474-1533) - итальянский поэт.

2 Языков Николай Михайлович (1803-1846) - русский поэт-романтик, собиратель народных песен, знакомый Одоевского.

3 ...сборник Кирши Данилова... - собрание русских народных песен и былин, изданное впервые в 1804 году и оказавшее огромное воздействие на тогдашнюю русскую литературу.

4 Соловей Будимирович, Васька Буслаев, Фрол Минаевич, Стенька Разин - герои былин и исторических песен "Сборника Кирши Данилова".

5 Ванька Каин - знаменитый сыщик и вор, наводивший ужас на жителей Москвы в середине XVIII века. Его жизнеописание, созданное известным автором лубочных книг М. Комаровым, было любимым чтением простого люда. Сам Одоевский написал "народную драму" о Ваньке Каине.

6 Аэролит - метеорит, обломок планеты, летящий в космическом пространстве.

7 Ермак Тимофеевич (ум. 1585) - казачий атаман, вождь похода в Сибирь, герой народных песен.

Хабаров Ерофей Павлович (ок. 1610 - после 1667) - русский землепроходец.

8 Вальтер Скотт (1771-1832) - английский писатель, автор многочисленных исторических романов, собиратель шотландских народных преданий.

<ПИСЬМО А. А. КРАЕВСКОМУ>

Впервые - Сакулин, 2, с. 450-543. Датируется октябрём 1844 года. Печатается по академическому изданию 1975 года.

1 Краевский Андрей Александрович (1810-1889) - журналист, вместе с Одоевским редактировал журнал "Отечественные записки", где была помещена статья Белинского о собрании сочинений Одоевского. Это письмо является ответом писателя на статью критика.

<ДВЕ ЗАМЕТКИ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ>

Впервые - "Русская литература", 1972, № 1, публикация М. А. Турьян. Печатается по тексту журнальной публикации.

Обе заметки относятся к 1867 году, когда личное общение Одоевского и Тургенева, познакомившихся еще в 1838 году, было постоянным и плодотворным. Тогда же появилась знаменитая статья Одоевского "Недовольно", к которой примыкают данные заметки, являющиеся интереснейшими откликами писателя пушкинской эпохи на тургеневские романы "Отцы и дети" (1862,) и "Дым" (1867). Особенно примечателен отзыв о знаменитом романе "Отцы и дети". Этот роман и его главный персонаж Базаров неожиданно оказались созвучны размышлениям Одоевского, его надеждам на новое поколение русских деятелей 60-х годов. Отзывы Одоевского о тургеневских романах - не только глубокие и пронизательные критические заметки, но и незаурядные документы для истории русской общественной мысли той поры, свидетельствующие о демократических воззрениях их автора. Отметим, что мысли Одоевского о скептицизме, содержащиеся в первой заметке, перекликаются с идеями его главной книги "Русские ночи".

1 Поташ - карбонат калия, вещество, необходимое для приготовления мыла, стекла и используемое как удобрение.

2 Киноварь - минерал, использующийся для приготовления красок.

3 Толерантизм - терпимость.

НЕДОВОЛЬНО

Впервые - сборник "Беседы в Обществе любителей российской словесности", вып. 1. (М., 1867, с. 65-84). Статья распространялась и в виде отдельных оттисков-брошюр. Печатается по тексту сборника с сокращениями. Варианты и другие материалы архива Одоевского, посвященные И. С. Тургеневу и его творчеству, опубликованы в статье М. А. Турьян "В. Ф. Одоевский в полемике с И. С. Тургеневым" ("Русская литература", 1972, № 1).

И. С. Тургенев опубликовал "Довольно" в своих "Сочинениях" (т. 5), изданных в Карлсруэ (Германия). Он работал над этим стихотворением в прозе с 1861 по 1865 год и считал его своей исповедью перед русскими читателями, завершающей писательский путь. "Довольно" вызвало почти единодушное осуждение русской общественности своим пессимизмом и отказом от всякой деятельности. Произведение Тургенева не понравилось Льву Толстому, В. П. Боткину и другим писателям; оно было зло спародировано Достоевским в романе "Бесы" ("Merci"). Но лишь Одоевский дал Тургеневу решительный и аргументированный ответ по всем "пунктам" его безысходно грустного лирического этюда. "Недовольно" было прочитано многими, имело общественный резонанс, хотя этой талантливой и глубокой по мыслям публицистической статье Одоевского и были присущи либеральные иллюзии, идеализация крестьянской и судебной реформ, с особенной отчетливостью высказанные в хвалах "царю-освободителю", либеральному дворянству и новым судам.

Очерк писался Одоевским в 1865-1867 годах. 9 марта 1867 года "Недовольно" было прочитано автором Тургеневу. "Прочел ему статью мою - он остался ею очень доволен, хотя и не вполне согласен со мною" ("Литературное наследство", т. 22-24, с. 229). Работа над статьей по многочисленным советам и замечаниям ее слушателей и читателей продолжалась и позже. Идеи, высказанные в статье "Недовольно", разделяло большинство читателей, и лишь известный оригинал Н. Колюбакин, чьи черты запечатлены Лермонтовым в облике Грушницкого, выступил в защиту "чистого художника" Тургенева и говорил: "Каков наш Одоевский? Так и валяет картечью в соловья" ("Sertum bibliologicum". Пб., 1922, с. 196).

1 Питт Уильям Младший (1759-1806) - английский государственный деятель.

2 Кювье Жорж (1769-1832) - французский зоолог.

3 Хладниевы фигуры - образуются скоплениями мелкого песка на поверхности колеблемой упругой пластинки и характеризуют частоту собственных колебаний. Открыты немецким физиком Эрнстом Хладни (1756-1827).

4 ...тому чудачу... описанному у Гофмана. - Имеется в виду тайный советник Кнаррпант, сатирический персонаж повести Гофмана "Повелитель

блех". Одоевский ссылается не на значительно смягченный окончательный текст повести, а на ее более острую и обличительную первую редакцию.

5 Гиппарх (ок. 180-190 - 125 до н. э.) - древнегреческий ученый, один из основоположников астрономии.

6 Даннекер - имеется в виду голландский скульптор Пост де Негкер (1485-1544).

7 Гершель Вильям (1738-1822) - английский астроном.

8 Дженнер Эдуард (1749-1823) - английский врач, первым начал прививать оспу.

Уатс - Уатт Джеймс (1736-1819) - английский инженер, изобретатель паровой машины.

Фультон Роберт (1765-1815) - американский инженер, построивший первый в мире пароход.

9 Линней Карл (1707-1778) - шведский естествоиспытатель.

10 Гарвей Уильям (1578-1657) - английский врач.

11 Гален Клавдий (129-201) - древнеримский врач.

12 Мальбранш Никола (1638-1715) - французский философ-идеалист.

13 Гассенди Пьер (1592-1655) - французский ученый.

14 Декарт Рене (1596-1650) - французский философ.

15 Мальпиги Марчелло (1628-1694) - итальянский биолог и врач, изучал анатомию растений с помощью микроскопов.

16 Левенгук Антони ван (1632-1723) - голландский натуралист, создатель научной микроскопии.

17 Розенкрейцеры - члены тайных средневековых обществ, изучавшие магию и алхимию; предшественники масонов.

18 Сервет Мигель (1511-1563) - испанский врач.

19 Чекко д'Асколи, Франческо Стабили (1269-1327) - итальянский астроном.

20 Альфьери Витторио (1749-1803) - итальянский поэт, автор известной автобиографии.

21 Гиппократ (460-377 до н. э.) - древнегреческий врач.

22 Мальтус Томас Роберт (1766-1834) - английский политэконом, автор реакционной теории "закона народонаселения", объясняющей социальную дисгармонию буржуазного мира чрезмерно быстрым увеличением населения земли. Художественная критика мальтузианства содержится в повести Одоевского "Последнее самоубийство", вошедшей в "Русские ночи".

23 Сочинитель этой книги - Ленуар... - На самом деле автором книги "О возрастании русского могущества от основания его до начала XIX столетия" был Шарль-Луи Лезюр (1770-1849), французский историк и публицист, служивший в наполеоновском министерстве иностранных дел. Само же фальсифицированное завещание Петра Первого написано, по мнению многих ученых, знаменитым французским авантюристом Шевалье д'Еоном. См.: Павленко Н. И. Три так называемых завещания Петра I. - "Вопросы истории", 1979, К 2, с. 142-143.

24 Город-памятник - папский Рим.

25 Кунцевич Иоанн (Иосафат) (1580-1623) - архиепископ полоцкий, жестокий гонитель православных белорусов; был убит восставшими жителями Витебска и в 1865 году канонизирован католической церковью.

26 "Завтрак у предводителя" (1849) - ранняя сатирическая комедия И. С. Тургенева, высмеивающая нравы провинциального дворянства.

БЕСЕДА В. Ф. ОДОЕВСКОГО С ШЕЛЛИНГОМ

Отрывки беседы впервые напечатаны П. Н. Сакулиным. В более полном виде опубликовано М. И. Медовым в книге "Писатель и жизнь" (М., 1978). Печатается по этому изданию.

1 Сен-Мартен Луи Клод де (1743-1803) - французский философ, чье учение оказало огромное влияние на воззрения Одоевского. Работы его переводились русскими масонами. Встречался в Лондоне с представителями русской знати, о чем, видимо, знал Шеллинг.

2 Мартинец Паскуалис (1715 ?-1779) - португальский мистик, основавший во Франции секту мартинистов; учитель Сен-Мартена.

3 Баадер Франц Ксаверий фон (1765-1841) - немецкий философ и богослов.

4 М. - по-видимому, Н. А. Мельгунов (1804-1867), друг Одоевского,

оставивший путевые заметки о встрече с Шеллингом.

5 Савиньи Фридрих Карл (1779-1861) - немецкий юрист, основатель исторической школы права, идеи которой совпадали отчасти с воззрениями наших славянофилов, и в особенности с воззрениями А. С. Хомякова.

6 Вердер Карл (1806-1893) - профессор Берлинского университета, гегельянец.

7 Беме Якоб (1575-1624) - немецкий мистик.

8 Спиноза Бенедикт (1632-1677) - нидерландский философ-материалист.